

**Николай  
Мжов**

**ЛЕСНЫЕ  
ТАЙНЫ**

**Повесть и рассказы**

СОВЕТСКИЙ  
ПИСАТЕЛЬ  
МОСКВА 1966

570403

С. А. М. О. С. Т. А.  
С. А. М. О. С. Т. А.  
С. А. М. О. С. Т. А.

Н. Мхов (1899—1964) впервые выступил как журналист еще в двадцатых годах. Более же всего он известен своими рассказами об охоте и природе. Всю свою жизнь он прожил в родной Коломне. С отроческих лет писатель стал страстным охотником. Незаурядный талант позволяет ему тонко передать все те ощущения, которые возникают у человека при общении с природой. Рассказы Н. Мхова проникнуты страстной любовью к необозримым просторам России. Много лесных троп исходил он и, умудренный опытом прожитых лет, создал ряд произведений, в которых сумел поведать читателю не только об облагораживающем влиянии природы на человека, но и о том, как труд советского человека преобразует природу.



**Лесные  
тайны**

**Повесть**

# 1

**В** первые годы революции на крутом берегу Яны поселился одинокий, угрюмый человек — Василий Кириллович Борунов. Был он кряжист, силен, молчалив, «Лешим» называли его лесорубы. Однако люди постарше, знавшие жизнь Борунова, говорили о нем иначе.

Не повезло Борунову. И двух лет не порадовался с молодой женой, как пришел вызов из волости и забрали его на войну с германцами.

После ранения вместо фронта пробрался Василий в родную, милую сердцу деревню. Да, видать, не в добрый час вернулся домой. Страшная весть обрушилась на него: погиб трехлетний сынишка. Алешка, о котором так сладостно мечталось в окопах, разбился насмерть.

Был храмовой праздник. По улице шатались ребята, горланили похабные частушки. Пьяные мужики хвастались друг перед другом небывальщиной. Отец Василия поймал за холку стригуна, посадил на него застывшего от испуга внучонка, хмельно закуражился:

— Орел! Весь в дедал..

Хлопнул ладонью по крупу. Жеребенок взвился, прыгнул, Алеша свалился и прямо об угол церковной каменной ограды головой.

Обезумевшую от горя молодуху вынули из петли, едва отходили. От нестерпимой, жгучей боли запила она бесстыдно, вмертвую, чтобы только не приходиться в сознание, не думать трезво о горе, не видеть перед собой слипшиеся в крови белокурые шелковистые волосенки.

Однажды какой-то проезжий молодец трое суток куролесил по селу, перепоил всех баб и мужиков, а на четвертый сгинул с пьяной, неутешной солдаткой. С тех пор как в воду канула — ни слуху ни духу о ней.

Дед, отец Василия, не перенес одиночества и страха встречи с сыном и, кто говорил — от отравы, кто — от муки, умер незадолго до возвращения Василия.

Осиротевший дом дышал затхлостью запустения. Сумерками в темных углах мерещились дорогие, навсегда ушедшие тени, к горлу подступали рыдания, хотелось кричать, биться о стену головой. Рвал Василий нечесаные, кудлатые волосы и выл смертным звериным воем. Неприкаянный шатался от избы к избе, пропивал с оставшимися в живых жалостливыми мужиками последние припасенные деньжата и, страдальчески тиская костистые пальцы в тяжелые кулаки, выпытывал у всех:

— Как же это, братцы, а?.. Как же теперь?

Но исцеляющего ответа не находил. Пьяные, воспаленные глаза его набухали злобой и непреодолимым страданием.

А когда с фронта валом повалили дезертиры и воинская уездная власть с казаками и стражниками стала устраивать облавы по деревням и пойманных силой возвращать на фронт для войны «до победного конца»,

Борунов с сельчанами ушел в лес, где и скрывался до самой революции.

После гражданской войны, когда изголодавшийся по привычному труду народ вернулся к заводам, фабрикам, к родной земле, Василий явился в лесничество с просьбой принять его лесником.

— Мне бы куда поглуше. Привычно одному,— густым голосом угрюмо пробасил он.

Лесничий внимательно посмотрел в его спокойные, тяжелые глаза, окинул взглядом широкие плечи, суровую морщину над переносицей, дремучую бороду с утонувшими в ней усами и серьезно спросил:

— На медведя с рогатиной ходишь?

— Я-то? — удивился Василий и улыбнулся. Улыбка чудесно преобразила лицо: широкое, густо заросшее, оно мгновенно, вдруг озарилось таким простодушием, что лесничий, не задавая больше ни одного вопроса, тут же приказал оформить товарища Борунова лесным сторожем Яновского участка.

— С такой лапищей можно и без рогатины на медведя ходить,— добро рассмеялся он, протягивая на прощанье руку.

Так появился в долго пустовавшем лесном кордоне у бурной весной и неприметной летом, торфянисто темной реки Яны новый лесник — Василий Кириллович Борунов.

Зимой вдоль берегов недалеко от кордона накатывали невысокими штабелями бревна, а весной сплавляли их модем к устью Яны, где связывали в длинные, тяжелые плоты.

В то время, когда с треском лопался лед и мутная, злая вода, заливая низины, подбиралась к сложенным

бревнам, берега заполнялись народом. Приходили ловкие, сильные сплотчики, умеющие, стоя на бревне, с длинным шестом в руках перебираться по бурливой реке. Появлялись звонкоголосые, в цветастых косынках, молодницы. До петухов над ширью разлива плыли в весенней тьме кудрявые переборы ливенки, лихие и задушевные старинные песни, наполняя ночь удалью и песенной тоской. До зари полыхали трескучие костры, а под вековыми соснами слышались жаркие шепоты.

Как-то по весне к Василию Кирилловичу попросились на постой три девахи. Озорные хохотушки звонкими голосами вспугнули скитническую тишину избы, прогнали из нее нелюдимую хмурь.

Василий стоял, упираясь плечом в косяк двери, угрюмо смотрел на круглые, налитые, белозубые лица девушек и тяжело молчал.

— Посторонись, пень! — игриво двинула его локтем первая, переступая порог сторожки.

— Да ты что, ай без хозяйки домовничаешь? — вскинулась она на Василия, садясь на широкую, почернелую от времени скамью.

— Один! Устраивайтесь, — сурово пробурчал он и, не оглядываясь, грузно ступая, сошел на землю.

— Ну, девоньки, медведь! Как есть медведь в берлоге!

— Не бойсь, не задерет! — озорно откликнулась другая, и девушки звонко расхохотались.

Через час изба преобразилась. Годами не мытые окна заиграли солнечным светом; всё деревянное — стол, пол, скамья, табуреты, — выскобленное ножом, свежо забелело чистым деревом. До медного жара оттерли самовар, убрали посудную полку бумажными кружевами; вы-

ставили никогда не выставлявшуюся зимнюю раму, распахнули окно, и прокоптелая затхлость уступила место вольному лесному духу.

С деревянной самодельной кровати стащили всю рухлядь. Слазали на сушило, набили длинный мешок пахучим сеном, устлали белой простыней, прикрыли лоскутным одеялом, на подушку натянули розовую свежую наволочку, а над кроватью растянули по стене дорожкой широкий, домотканый рушник с оранжевыми петухами.

Вечером вернувшийся из леса Василий застал постояльцев за самоваром.

— А мы, тебя не дождавшись, чаевничать решили,— словно оправдываясь, проговорила сидевшая за самоваром.

— Да ты што уставился? Иди помойся, да за стол,— сверкнув зубами, прикрикнула она на лесника.

— Нас трое, а он один — испужался,— засмеялась другая.

— Озорные вы,— махнул рукой Василий и шагнул на крыльцо к рукомоёйнику.

Разливавшая чай подвинула ему табуретку и спросила так просто-домовито, будто всегда вот так-то и сидела здесь за самоваром и управляла чаепитием:

— Тебе пожиже ай как?

— Наливай,— пробурчал он, не поднимая головы, и потянул руку за баранкой. Попробовал было откусить, не осилил, ухмыльнулся — топором бы ее.

— А ты помакай — обмякнет.

— Ничего, управимся.— Положил на ладонь, нажал, баранка хрупнула и рассыпалась.

— Эк тебя господь силенкой наградил, сердешный! — повернулась к нему девушка за самоваром.



— Как тебя звать? — строго обратился к ней Василий.  
— Девчата кличут Фешкой, а поп окрестил Ефросиньей.

— Стало быть, Фрося. Ну, а меня, значит, Василий. Так поселилась с двумя подружками у Василия Фрося. Через три недели пошел моль. Все занялись скатыванием с берега в реку бревен. По мере того, как все меньше и меньше оставалось несплавленной древесины, все больше и больше уходило людей к низовью, к запани, где связывали бревна в плоты.

Наступила пора отправляться и Васильевым квартирантам. Но, видать, на роду Фросе было написано навсегда поселиться у Василия Кирилловича Борунова в глухом лесу на крутом берегу торфянистой Яны. Случилось это так.

Готовясь к отъезду, девчата затеяли большую стирку и полную генеральную уборку всего дома. Скоблили, терли, мыли, печку мелом мазали, медную посуду толченым кирпичом в блеск вводили.

Василий, не желая им мешать, чуть свет, по ранней заре ушел в лес. Да и не хотелось выдавать девчатам своего душевного состояния. Сжился с ними, оттаяла душа от девичьего веселого, доброго говора, от уютного чаепития. Уедут — опять один, опять тоска, опять лес, ветер, дождь, снег по пояс да голодный волчий вой. Опять дремучая, берложная жизнь. Ушел угрюмый, чувствуя себя заброшенным, никому не нужным.

Две подружки, закончив уборку, отправились за три километра сговариваться насчет завтрашнего совместного отъезда. Дома осталась одна Фрося. Надо было высушить и уложить в сундучки белье.

Василий вернулся раньше обычного. Вдалеке погро-

мыхивал гром, падали редкие, крупные, предгрозовые капли.

Фрося, торопливо сорвав с веревки белье в кошелку, поднималась с ней по лестнице на сеновал. Василий, грузно опираясь ладонями о стволы ружья, смотрел, как на ступеньках мелькали загорелые, тугие икры, гнулось под тяжестью корзины ее молодое сильное тело. Вдруг он рванулся к Фросе и, не дав спрыгнуть на землю, схватил в охапку, до боли прижал к груди и, шумно дыша, понес в избу.

Она испуганно взвизгнула, но, взглянув в его пылающие, дикие зрачки, увидела неотвратимое, притихла, разжала пальцы, выронила корзинку.

Неснятое с веревки белье так и осталось мокнуть под грозным дождем.

С тех пор прошло много лет. Страна вступала в сороковые годы. Василию Кирилловичу уже перевалило за шестьдесят, Ефросинье Дмитриевне — за сорок. У них было два сына. Старший осенью должен был идти в армию, младший уезжал на зиму в город учиться. Оба ладные: в мать — веселые, в отца — сильные, крепкие.

Отец любил их затаенной, суровой, мужской любовью, а мать, гордая своим счастливым материнством, не прятала своего беспокойного радостного чувства. Еще за месяц до ухода Петра в армию она принялась плакать и расспрашивать Василия о солдатском житье-бытье.

Петр неловко обнимал ее, конфузливо целовал в каштановые волосы и, как отец, бурчливо утешал:

— Ладно тебе, мам. Будя, мам. Что ты горюешь, чай, в Красную Армию иду, не в царскую солдатчину.

— Ну, размокла,— сдвигал кустистые брови Василий.

Фрося торопливо вытирала глаза, звонко целовала сына в еще по-детски пухлые губы и, уже весело смеясь, всплескивала полными руками:

— И верно, отец, радоваться надо — вон какого выкормила, а я, дура, реву!

Дружно, хорошо наладилась жизнь Василия. Младший сын, Сергей, радовал отметками и надеждой на большое будущее.

— Закончит десятилетку — в институт пойдет,— хвастливо высказывала Ефросинья Дмитриевна свои материнские чаяния редким гостям-лесорубам.

Василий молчал, но и он лелеял это невысказанное желание. Почему-то представляя Сергея в будущем обязательно таким, каким был инженер лесхоза Аркадий Георгиевич Демин, Василий невольно относился к сыну с незаметной для себя и неувлимой для окружающих почтительностью.

А Сергей каждую весну после экзаменов приезжал домой и все лето с зари до зари, нередко и ночами, пропадал в лесу, в болотах, на заросших камышом озерах.

И каждый раз обеспокоенная и любящая Фрося встречала его сердитым выговором:

— И где ты, непутевый, шатаешься? Всю душеньку мою извел, неумный!

Сергей смеялся, высыпал из мешка рыбу и, присев на корточки, хвастался:

— Гляди, какая!

Она опускалась с ним рядом, хотела поцеловать в смуглую, покрытую белесым пушком шею, но сдерживалась и строго выговаривала, перебирая жирных лещей и серебристую плотву:

— Сколько ты мне крови иссушил, нерадивый,— ни одна рыба того не стоит. Отодрать тебя надо! Беспременно отодрать!

Сергей вскакивал, поднимал мать на руки и хохотал:

— Это меня-то, такого-то, отодрать?

Отец, стоя на крыльце, щурил смеющиеся глаза и прятал в заросли волос улыбку, но говорил назидательно строго:

— Ты чтой-то, дурак, нашел с кем баловать. А ну, мать, хлобысни его по роже как следует!

Сергей бережно опускал мать на землю. Она целовала его разгоряченные щеки и, поправляя сбившуюся козынку, смеялась:

— Сила-то в ём, Вась, как у тебя — медвежья!

Хорошо, душа в душу, жила семья Василия Кирилловича.

Радость вошла в их дом неожиданно, еще в ту пору, когда Фрося грудью кормила Петра, и с тех пор лесовая жизнь так и потекла неомраченной.

Стояли последние дни сентября. Накануне приехал Аркадий Георгиевич. По обыкновению пошутив над завидным здоровьем Фроси, развернул план леса и, рассматривая зеленые нумерованные квадраты, пометил красным карандашом предстоящий повал.

— Завтра, Василий Кириллович, ты заклеими в сорок третьем квартале сотенку деревьев. Вот этот, соседний, сорок второй, мы отводим под сплошную рубку.

Подробно рассказав, для какой цели нужны отборные деревья, Аркадий Георгиевич заторопился в лесничество.

На другое утро, плотно закусив жареной картошкой с салом, выпив вместо чая полкрынки холодного вечерош-

него густого молока, Василий собрался на весь день идти клеймить деревья для повала.

— Я тоже с тобой пойду,— запросилась Фрося.— Уж больно там ягода хороша.

Сорок второй и сорок третий кварталы славились крупной, сочной брусникой.

Василий было возразил, что и путь не близкий, и комар еще в лесу не пропал, и Петяшка замается, но Фрося так произнесла: «Неужто не возьмешь?», что он тут же согласился.

Василий Кириллович неторопливо шагал привычным к долгой ходьбе размеренным крупным шагом. За спиной висела двустволка. За старый солдатский ремень засунул топор, в руках нес сумку с продуктами и молоток-клеймо.

Фрося семенила за ним частой, неустояющей походкой. Она несла на холстинной перевязи у груди сына и на полотенце через плечо берестяную кошелку для ягод.

Для легкости и удобства она обулась в свежие лапти, отчего ноги в холстяных обмотках казались ошкуренными чурбашками.

Выдался один из тех сентябрьских дней, когда в воздухе еще живет тепло неушедшего лета, но в прохладе утра уже чувствуется близость осени.

Сорок третий квартал начинался от старой порубки, заросшей малинником и березовым молодняком. По просеке между порубкой и сорок третьим кварталом корабельной сосны рдела на мшистых кочках сочная брусника.

Василий любовался каждым выбранным деревом, оценивающе осматривал его могучий, ровный ствол, увенчанный густой округлой кроной. Деревья требова-

лись отборные, с сучками не ближе полутора-двух метров друг от друга.

— На экспорт! — предупредил Аркадий Георгиевич.— По особому заказу!

Стесав кору до блестящей соковой заболони, на которой сразу выступали янтарные смоляные капли, он, сильно размахнувшись, выбивал молотком клеймо.

Фрося перепеленала и накормила сына. Подстелив ватник и прикрыв лицо ребенка от комаров марлевым лоскутом, она удобно устроила его в тени малинового куста.

Зная, что Василий недалеко, Фрося увлеченно собирала ягоды, незаметно, шаг за шагом отдаляясь от спящего сына. Пригоршней стягивая ягоды с крепких упругих стеблей, она, не разгибаясь, швыряла их в лукошко.

Сначала Василий слышал ее негромкое пение. Тоже увлеченный работой, он незаметно углублялся в лес. Через некоторое время он уже не слышал Фросиного голоса — его окружила привычная лесная тишина. Но он знал, что Фрося недалеко на просеке, и продолжал спокойно отбирать деревья.

Вдруг истошный вопль нарушил тишину. Мгновенно прекратив работу, по-молодому стремительно Василий побежал к просеке. Он выскочил на прогал в тот момент, когда медведь, потешно вскидывая темно-бурым толстым задом, мчался к старому березняку.

Без кровинки в лице, судорожно прижимая к груди ребенка, Фрося стояла на коленях у малинового куста с широко раскрытыми, застывшими в ужасе глазами. Побелевшие губы дрожали, из горла вырывался хлюпающий звук.

Увидев Василия, она вскочила, бросилась к нему и,

прикинув с сыном к широкой груди, безудержно в голос зарыдала.

Вот тут-то вдруг что-то произошло в его сердце. Оно наполнилось такой радостью, таким счастьем, о существовании которого он никогда не подозревал.

Надрывный, истошный вопль, пылающие глаза на омертвевшем лице, вздрагивающая, доверчиво прикинувшая к его груди Фрося наполнили душу еще непережитой и болью и нежностью.

Он бережно взял на руки сына, обнял плачущую Фросю и, наклонившись к мокрым ее щекам, прошептал незнакомым, не своим голосом необычайные для себя слова:

— Кровинушка ты моя. Испужалась как...

Тут же положил сына на ватник, поднял Фросю, как маленькую, и, не умея иначе выразить мгновенно расцветшую в нем любовь, поцеловал ее вздрагивающие, солоноватые от слез губы. И только теперь он вдруг заметил, какие у нее милые глаза, тугие щеки, какая вся она беспомощно-доверчивая.

— Фросюшка, какая ты у меня! Фросюшка! — шептал Василий.

Успокоенная, она доверчиво лежала на его руках, обнимала задубленную коричневую шею.

— Медведюшка мой,— повторяла без конца с детской покорностью Фрося.

Потом Василий смотрел, как она кормила сына, как тот требовательно хватал жадными губенками тугой сосок, смачно чавкал, булькая, глотал молоко, а насытившись, сонно отвалился от ее груди.

Фрося, поддерживая ребенка, рассказывала, как, обернувшись, она вдруг увидела у куста, под которым он

спал, медведя, как у нее зашло сердце, помутился ум, как, не помня себя, она, размахивая сорванной с головы алой косынкой, бросилась к кусту, а медведь рывкнул и со всех ног кинулся прочь. Рассказывая и вновь переживая недавний страх, она плакала и смеялась.

Они медленно направились к дому. Был тот чудесный час, когда еще сохраняется ласковый угрев нежаркого солнца, еще не тускнеет в предвечерней дымке прозрачная синь неба, но уже ложатся длинные тени, из лесной глубины тянет холодком и особенно четко раздается дробный стук дятла по тугой коре. Еще не осень, но гуща зелени уже обрызгана золотым и лимонным крапом увядания.

И вот тут-то впервые Василий и заметил всю прелесть притихшего леса.

— Фросюшка, глянь-ка, как хорошо!

Фрося остановилась и, запрокинув голову, долго смотрела в сиреневую высь. Перевела взгляд на веселые березки в первом осеннем окрасе листьев, глубоко-глубоко вздохнула и, пораженная впервые открывшейся ей красотой, удивленно произнесла:

— Господи, да что же это, Вася, приключилось! Сколько живем с тобой, дите прижили, а вот будто только ноне увидала всю красоту! Так бы вот век шла по этому лесу!

— Кабы теперь встретил напужавшего тебя медведя — в ноги поклонился бы ему, — ответил Василий. — От всего сердца сказал бы ему: «По гроб жизни слуга твой, косолапый, за то, что показал мне, какая такая есть жена моя Афросинья Дмитриевна!»

Так на третьем году озарилась их жизнь ярким чувством, а лес открылся им во всей своей красоте.



Именно с этого времени необычайно полюбил Василий Кириллович в дни золотой осени уходить далеко от дома, в лесную глушь. И если бы в это время спросить Василия Кирилловича, что он испытывает, о чем думает, он, наверное, ответил бы, что ничего не испытывает, ни о чем не думает.

В это время он избегал встреч с людьми, сторонился лесорубов и приезжающих с лесхоза начальников. Домой возвращался вечером. Переобув натруженные ноги в теплые валенки, садился на ступеньки крыльца и терпеливо ожидал Фросю.

Она знала, каким просветленным в ту пору возвращался он из леса, и, управившись с хозяйством, подсаживалась к нему.

— С праздничком тебя. Ишь какой ты, словно от причастия!

Он притягивал ее к себе, заглядывал в ясные, добрые глаза, шептал:

— Все ты у меня без слов понимаешь.

## 2

Петра призвали во флот. На втором году службы он приехал в отпуск. В черной шинели, с чемоданчиком в руке, с лихо надвинутой на лоб и набекрень бескозыркой Петр появился в дверях кордона в тот момент, когда Фрося наливала эмалированным половником щи в тарелку Василия. Увидев сына, она вскрикнула, бросилась к нему и, припав лицом к жесткому, шершавому сукну, замерла.

Петр нагнулся к ней, обнял, поцеловал:

— Ну что ты, мам? Да успокойся, мам,— гладил он ее каштановые волосы.

Потом Фрося суетилась, ни минуты не сидела на одном месте — бегала в погреб, тарахтела в буфете посудой, раздувала самовар, затеяла на скорую руку любимые Петром оладушки, извлекла из подпола наливки и все ахала, удивлялась, восторгалась силой, молодостью, красотой сына.

Василий, порывисто и крепко обняв сына, молча поцеловал его в губы, стиснул широкую твердую ладонь. Петр почувствовал, как радостно взволнован отец.

— А у тебя, батя, силенка все та же!

— Покеда не обижаюсь,— довольно прогудел отец.— Готовь, мать, стол для дорогого гостя! Раздевайся, Петя, вешай казну сюда,— указал он на вешалку.

В матросской рубахе, с широким ярким воротником, открывавшим полосатую тельняшку на тугой груди, в гладких брюках-клеш, перехваченных на талии ремнем с надраенной до блеска медной пряжкой, Петр казался еще статнее, стройнее.

Все было здесь свое, нерушимое, домашнее, родное. И так светло, так тепло стало на душе у Петра, что и усталость сорокакилометрового пути куда-то сгнула и обо сне не думалось.

— А ты у нас, мам, не стареешь. Любой дивчине пить дашь.

— Тю, непутевый! Над старухой смеешься, да еще над матерью,— звенела она, раздувая самовар.

Петр выходил на крыльцо, слушал безмолвие ночи, жадно вдыхал хвойный аромат воздуха и, погружая пальцы в густую шерсть вертящегося у ног старого Бушуя, всем своим существом ощущал ласковый покой родного

крова. Из хлева тянуло парным теплом и приятным запахом навозца.

Мать выбегала из избы, уводила сына в дом — и опять расспросы, опять ахи, охи и в каждом слове, в каждом жесте неприкрытая, ненасытная материнская любовь и радость.

Под утро улеглись. Но Фрося так и не заснула. Чуть свет она встала и, стараясь не греметь ухватами, занялась печкой. Вслед за ней поднялся отец. Бесшумно, на носках, он принес и с величайшей осторожностью сложил у русской печи дрова. Глядя на его напряженно, неуклюже шагающую фигуру, Фрося зажала передником рот, чтобы не расхохотаться в голос. Василий пальцем поманил ее за собой в сени и там сказал, приглушая до ще пота густой голос:

— Ты шибко-то с печкой не торопись. Он теперь весь день проспит. Я схожу в лесхоз, Сергуньке телеграмму отобью — может, прикатит на денек, другой. Да по дороге рябчиков набью — свеженьких изжаришь.

— Ты уж тогда, Вася, винца прихвати, колбаски и еще чего магазинного. А Сергуньке отпиши, что мать больно просит приехать, чтобы, значит, двоих сразу повидать. Обожди, деньги дам.

Фрося вынесла деньги, сама увязала их в его клетчатый носовой платок, положила в боковой карман пиджака, предварительно проверив, не порвался ли, и уж после этого напутствовала:

— Ты на рябчиков не задерживайся.

Василий терпеливо ждал, когда Фрося «оборудует» его в дорогу. А когда наконец все было готово, вскинул на плечо ружье, шутливо спросил:

— Разрешите отправляться, товарищ командир?

Василий шел размашистым шагом, не чувствуя ни своих лет, ни тяжести своего грузного тела.

Пятнадцатикилометровую дорогу до лесхоза в трех местах пересекали ненадежные, подгнившие мосты через извилистую, темную Яну. Но Василий Кириллович знал путь намного короче, нетронутой лесной целиной, через топкое клюквенное болото и хлипкие кладушки — жерди, устроенные им самим поперек Яны.

Эту дорогу когда-то проложил Сергей. Сначала он прочертил карандашом на карте линию от крестика, обозначавшего кордон, до кружочка — места лесхоза, а затем уже в один из свободных дней, держа направление по компасу, двинулся напрямик через лес и только к заходу солнца, веселый и довольный удачей, вернулся домой.

— На деревьях всюду зарубки сделал, а по болоту вешки понатыкал, — хвастался он. — Вон насколько путь укоротил! Только в одном месте брод по грудь.

Вскоре Василий Кириллович вместе с Сергеем отправился обстраивать этот новый путь. Там, где Сергей пробирался через Яну бродом, они вогнали в илистое дно крепкие столбышки, соединили их поперечинами и пришили к ним оструганные жерди.

Но Фрося только раз прошла с Василием новой дорогой.

— Ну ее, — хмурилась она. — Короткая, да страшная, того и гляди на медведя напорешься али в «окно»<sup>1</sup> ухнешь.

---

<sup>1</sup> «Окно» — глубокий провал в торфяных болотах, затянутый предательской зеленой травкой.

Если Сергей долго задерживался в лесу, ей представлялось, что он сбился с «проклятущей тропки» и где-нибудь выбивается из сил, борясь с бездонной торфяной топью. Тревога не давала усидеть дома, она выбегала за кордон в лес, пронзительно звала-аукала: «Серёня-аа-аа!» А вернувшись, умоляла Василия сходить с Бушуем поискать парня и шумно радовалась и крикливо бранилась, бросаясь навстречу неожиданно появлявшемуся Сергею.

Но Василий любил эту стежку через плотный, вековой, с накрещенными выворотнями, лес, всегда сумрачный, прохладный, с неумолкающим шумом в густых кронах. Здесь выводились глухари, дневали волки и под вывороченными корнями медведи устраивали берлоги. На выходе лес редел, переходил в некрупный ельник с большими от близости болотной сырости обвисшими лапами, покрытыми мшистым седым лишайником. Между елями росли березки, расцветивая темные тона хвои ситцевой белизной стволов и сочной окраской листьев. Здесь по осени жировали рябчики.

Василий прикладывал к губам самодельный, из заячьей косточки манок, пронзительно-остро выводил: «Пи-ий! Пи-пи!» — и, напряженно вслушиваясь, склонял голову набок. Вот качнулась в гуще ельника веточка, что-то трепыхнуло пестрым лоскутком и скрылось; вот невидимая птица стремительно перемахнула с елки на березу, и в тот же миг оттуда задорно, храбро раздались: «Пи-и-ий!»

Сам Василий редко убивал больше трех-четырёх рябчиков. И когда Сергей однажды принес полный ягдташ дичи и, гордый своей охотничьей удачей, сбрасывая тяжелую ношу с плеча на крыльцо, стал хвастаться

ею, отец, сдвинув кудлатые брови, сурово остановил его:

— Нам что, трех мало? Есть нечего? Оголодали? Так-то не мудрено весь лес без дичи оставить. И так супротив прежнего куда как бедно стало. Эка невидаль под манок рябца застрелить. Убить не долго — вырастить трудно! Не продавать, чай, дичи нам. Зачем загубил?

Обескураженный неожиданным выговором, Сергей стоял, тупо опустив голову.

— Не махонький. Не первый раз с ружьем в лесу. Стрелять с умом надо! Ружье не игрушка. Дичь не забава,— гудел Василий, упершись тяжелым взглядом в склоненную голову сына.— Убери! — коротко приказал он, тронув ягдташ ногой.

Сергей отнес дичь на погребницу. А вернувшись к крыльцу, снял сапоги, разложил ружье, принес щеточки, масло, шомпол и начал тщательно протирать стволы.

Василий Кириллович занялся хозяйством. Намешал в ведре корм корове, налил в корытце поросенку пойло, подмел у сеновала, накачал в колоду свежей воды и все гудел и гудел в бороду сердитые, осуждающие слова, бросая из-под нависших бровей суровый взгляд на сына.

Сергею мучительно хотелось высказать отцу свое искреннее раскаяние, но ложный стыд сковывал речь, и, по-отцовски угрюмо сдвинув брови, он рьяно надраивал шомполом стволы.

Фрося внимательно следила за этой сценой. Боясь своим вмешательством еще сильнее растравить мужа, она не заступалась за сына. Но когда Василий Кириллович переделал все хозяйственные дела и, не зная, чем еще заняться, взял из рук Сергея стволы и заглянул в

полированные, сияющие кольцами каналы, Фрося, неслышно подойдя к нему, тихо сказала:

— Успокойся, отец. Он боле не будет зря губить. Глянь-кась на него — сам себя измордовать готов.— Примиряюще, легонько ткнула ладошкой в наклоненную голову сына: — У-у-у, дурень!

Сергей порывисто двинулся к отцу и, комкая пальцами кепку, трудно выдавил застревающие в горле слова:

— Отбери ружье, если когда-нибудь убью больше, чем требуется для еды! Больше трех, отец, убивать не буду. Увлекся,— сами так на выстрел и лезут! А мне и в башку не стукнуло, что стрелять их ни к чему,— не удержался он от оправдания.

Василий посмотрел на сына, хмыкнул в бороду и, свистнув Бушуя, зычно крикнул:

— Готовь, мать, ужинать!

Свое обещание Сергей никогда не нарушал.

В лесу Василий вдвоем с Сергеем зафлаживал волчьи выводки и с помощью Аркадия Георгиевича уничтожил их не один десяток.

Осенями, в сумерки, Василий приходил сюда вабить, подсчитывая по ответным голосам выводок, определяя возраст, лазы, ходы.

Здесь же случалось ему с Бушuem поднимать из берлоги на задние лапы бурого и точно всаживать в ухо или в сердце самокатную свинцовую пулю.

А веснами здесь, у кромки болота, кругом стоном стонало от страстных бормотаний и чуфыканий косачей. На нижних суках сосенок любили токовать глухари. А вечерами от сумерек дотемна над болотистым мелколесьем низко тянули вальдшнепы и, взвываясь, падая, бляели бекасы.

Василий Кириллович, верный своему правилу — набивать только необходимую для еды дичь, обычно стрелял три-четыре раза, подбирал упавшую птицу, разряжал ружье и садился на широкий, давно облюбованный им пенек от столетней ели.

Слушал он внимательно, долго, зорко озирался, не пропуская ни одного пролета птицы, ни одного звука. И чем больше он сживался с природой, тем больше проникался сознанием необходимости оберегать эту чудесную жизнь.

Однажды он несказанно был обрадован, увидев, как Сергей отогревает своим дыханием мокрого, застывшего тетеревенка. Лиса ли разогнала выводок, старка ли, вспугнутая кем-то, увела цыплят в травяную гущу, но один маленький, пушистенький тетеревеночек с голыми, культистыми крылышками, жалобно, беспомощно попискивая, весь мокрый, обессиленный, застывший в холодной росе раннего утра, остался один. Сергей, привлеченный писком тетеревенка, осторожно подкрался к нему, и тот, даже не попытавшись удрать, очутился у него в ладони.

Не видя отца, Сергей дышал на цыпленка и, совсем как Фрося, мягко ему выговаривал:

— Ах ты, непутевый. Ах ты, несмышлениш. Как же ты отстал от матери? Ведь погибнешь, комаренок ты писклявый.

Пригретый тетеревеночек умолк, а Сергей все дышал на него. В его лице было столько сердечного участия, что Василий не заметил, как губы его раздвинулись в улыбку.

— Это от тебя, Фрося. От твоего материнского сердца,— прошептал он и позвал Сергея.

Сергей вздрогнул от неожиданности, резко выпря-



мился и, поняв, что отец давно наблюдал за ним, густо покраснел.

Василий Кириллович подошел к сыну и, будто не замечая его смущения, сказал серьезно, назидательно:

— Правильно сделал, что отогрел. Вот кабы так каждую пичугу беречь — сколько бы жизни сохранилось. Хорошо, Серёня, от души говорю — хорошо, сынок!

Сергей любил отца, понимал, как старик привязан к лесу и какой он, несмотря на кажущуюся нелюдимую суровость, добрый человек.

От лесничества до района было двадцать пять километров, а до областного города, где учился Сергей, поездом двенадцать часов езды.

— За сутки доберется, — решил Василий Кириллович и наказал Аркадию Георгиевичу составить так телеграмму, чтобы Сергей непременно приехал. — Потеряет дней пять, зато мать порадует и брата повидает, — объяснил Василий Кириллович.

Послушав, как телефонистка передавала в город его телеграмму, довольный, он вернулся к Аркадию Георгиевичу и, заглядывая в его веселые глаза, упрасивал:

— Приходи с Сергеем к нам непременно! Во как будем рады тебе! Да и Клавдию Петровну свою прихвати. Ребята у нас ноне гости редкие — для нас их приезд большой праздник! Фрося наказывала без твоего и Клавдии Петровны согласия не возвращаться!

Аркадий Георгиевич любил густой, низкий голос Василия Кирилловича. В искренности старого лесника он не сомневался и, не скрывая, благоволил к этому нелюдимому человеку.

— Ну, коли Ефросинья Дмитриевна наказывала,— весело ответил инженер,— деваться некуда, придется ехать! На вабу ходил? — заговорщицки подмигнул он.

— Намедни пробовал, отзываются.

— Тогда ружьецо прихвачу.

— Попытаемся, сегодня с Петром проверим. Выводок, надо быть, нетронутый.

Страстный волчатник, Аркадий Георгиевич особенно любил трудную осеннюю охоту на волков.

Василий Кириллович, нагруженный покупками, неторопливо возвращался знакомой тропкой через болото.

Нежаркое солнце ослепительно пронизывало золотым сиянием осиротевший, поредевший лес. Именно в эту пору хорошо высматривать свистнувшего рябчика и легко отличить его от потемневшей, оголенной ветки. Стоило Василию поманить тонким, длинным посвистом, как с разных сторон отозвались нетерпеливые, звонкие голоса самцов. Вскинув ружье, он стал зорко оглядывать верхушки берез.

Застрелив несколько рябчиков, Василий плотно затянул шнурок мешка, приладил поудобнее лямки к плечам и перезарядил правый ствол на случай встречи с рысью картечью, а левый для медведя — пулей. И, держа привычно ружье на согнутой руке, чтобы мгновенно вскинуть его к плечу, Василий Кириллович, зорко оглядываясь по сторонам, направился к дому.

### 3

Где тропа вливалась в наезженную дорогу, поджидали его Петр с Бушумом. Огромная, мохнатая степная овчарка со сверкающими полированными бусинками глаз в куд-

рявой заросли морды с визгом бросилась передними лапами на грудь, норовя лизнуть в бороду. Василий потрепал кудлатую башку и ласково пробубнил:

— Соскучился, разбойник? Ну, здравствуй, здравствуй, мошенник!

Пес успокоился и деловито, с сознанием выполненного долга затрусил к кордону, откуда разливисто разносился голос Фроси:

— Белянк, Белянк, Белянка-а-а!

— Не надо было из загона выпускать,— заметил Василий, прислушиваясь к зову жены.— Волки в урочище залегли.

Петр взял у отца увесистый рюкзак, легко вскинул его за одну лямку на плечо и, кивая в сторону голоса матери, ответил:

— Она говорит, что корова, где бы ни была, опретью бежит на ее голос.

Словно подтверждая правильность этих слов, ломая кусты, с треском вылезла из зарослей комолая, гладкая коровка с бряцающим колокольцем на шее. Уставилась агатовыми глазами на Петра, вскинула голову, взревела и понеслась на знакомый зов.

Шли молча. Петр, как и отец, не отличался многословием. Радуюсь всему: солнцу, прохладе вечера, прозрачной голубизне неба, звонкому шороху поблекших листьев, доброму бреху Бушуя, родному крову — всему, с детства любимому, он шагал в ногу с отцом в самом счастливом, бездумном настроении. Его крупное, загорелое русское лицо сияло неомраченно-детской чистотой.

Василий искоса поглядывал на сына пронизательным, изучающим взглядом и видел то, чего не замечал раньше. Петр — и не Петр. Все будто прежнее: простота,

искренность, прямодушие, улыбка, манера смеяться, откидывая назад голову, а при серьезном разговоре сурово сдвигать брови, все та же преданная любовь к матери, к нему, дому, но появилось что-то новое, незнакомое.

И вдруг с такой яркостью представились обезумевшие в ужасе глаза Фроси и вскидывающийся зад испугавшегося медведя, что Василий остановился и, будто вытирая пот, провел ладонью по лбу и глазам.

— Ты что, отец? — повернулся к нему Петр.

— Вспомнилось, как мать от медведя тебя спасла, — признался он. — Был ты младенец в пеленках грудной. Кабы тогда не мать, может, и на свете тебя бы не было.

— Мне мама рассказывала, — серьезно сказал Петр и вдруг рассмеялся. — А теперь, пожалуй, без матери с медведем справился бы!

Они приблизились к кордону. На крыльце стояла Фрося. Заслыша голоса, она заторопилась к ним за ворота. Подойдя, ухватилась за лямку рюкзака, настойчиво потянула к себе.

— Давай донесу — все плечо, чай, оттянул.

— Да что ты, мамка? — Петр обнял ее, легко приподнял. — Да я еще и тебя прихвачу в нетяжесть.

Василий зычно хохотал, выставив торчком густую седеющую бороду.

— Во, мать, какого младенца от медведя уберегла. Фрося пригнула к себе сына, перекрестила:

— Сохрани в тебе господь отцовскую силу.

Петр хотел шутливо ответить, что силу, полученную им от отца и леса, он и без господя сохранит, но, взглянув в строгие, любящие глаза матери, в нахмурившиеся брови отца, промолчал.

К ночи отправились на вабу. Лес дышал холодом, пугающей тьмой, глухо шумел неумолчным, таинственным шумом. Высокие кроны сливались с бездонной чернью неба, и ярко в прогалах их дрожали звезды.

Василий Кириллович ступал мягко, неслышно, ставя ногу так, что и хворостинка под ней не хрустнет и не зашуршит отживший сухой лист. Петр, подражая отцу, тоже шагал осторожно, но в чуткой тишине то и дело отчетливо раздавались то треск ветки под его ногой, то стук каблука о корень.

Тогда Василий останавливался, поджидал сына и в ухо сердито шептал:

— Ты чего медведем прешь. Ай первой на вабе.

К месту пришли часов в десять. С болота тянуло холодным туманом и торфяным прелым запахом.

Василий остановился на тропке. Шагах в пятидесяти от него начиналось Гнилое урочище — гибельная, топкая низина, заваленная трухлявыми стволами буреломного ольшаника, заросшая крапивой, осокой, частыми гибкими ивовыми побегам. В этой крепости на валежнике волчицы любили устраивать логово, выкармливали своих щенят.

Шагах в полтораста от отца на лазу устроился Петр. Засунув руки глубоко в рукава бушлата, он прислонился к стволу дерева и замер в напряженном ожидании.

Василий расстегнул ворот рубахи, подвел ладонь под бороду к горлу и, чуть нажимая на кадык, издал короткий, негромкий, пробный звук. Послушал. Тишина... Приоткрыв рот, поджимая язык к гортани, протянул долгую глухую ноту, чуть обождал и поднял голос высоко, с перехватом на третий волчий взыв.

Издали, откуда-то справа донесся густой, тягучий голос волчицы, а через несколько минут провизг переряка.

Василий, напряженно слушая, вабил. Волчий голос приближался. Темнота леса наполнилась тоскливым звериным воем.

Петр родился в лесу. Еще мальчишкой ходил с отцом на подвыв. Все это ему было давно знакомо, привычно, но всякий раз, когда ночью раздавался волчий вой, в сердце закрадывалась тревога, становилось страшно.

Отец запрещал ходить на вабу с ружьем.

— Не утерпишь, коли близко надвинутся, выстрелишь. Тогда — прощай выводок, уйдет километров за десять.

Казалось, волки обязательно выйдут на безоружного Петра. Он крепче прижимался к дереву и старался неслышно дышать. Но Василий Кириллович знал, когда нужно кончать разговор с волками. Точно определив количество волков в выводке, установив его ходы, он умолк, послушал, как, потрескивая валежником, стороной отходят звери, и неторопливо направился к Петру.

— Трудная крепь. Тяжело брать, — раздумчиво сказал Василий Кириллович.

Петр, как и его брат Сергей, знал на двадцать километров вокруг каждую болотину, каждую тропку, знал, какая где гнездится дичь, где какой зверь кормится. Охота для него была обычным, повседневным занятием. Но он никогда так самозабвенно не отдавался ей, как Сергей, не проявлял его неукротимой страсти. Петр добросовестно часами бродил с ружьем в поисках дичи, бил спокойно, тщательно выцелив, наверняка, больше по сидячему. Сергей, наоборот, любил стрелять навскидку, влет, восторгался ловким ударом и, забыв про все на свете,

редко-редко когда вовремя возвращался домой к ужину, вызывая у матери тревогу.

Для Петра лес был кормильцем, основой тяжелого, добычливого труда, а для Сергея — прежде всего радостью. И когда, окончив десятилетку, он твердо заявил родителям, что дальше будет учиться на лесничего либо на зоолога, это ни в ком не вызвало удивления.

Чувствуя, что близится исполнение ее заветной мечты, Фрося прослезилась.

— У нас, малограмотных, сын ученым будет, — сказала она. — Возьми, сынок, на учебу мое материнское благословение.

Сергей вместе с Аркадием Георгиевичем и Клавдией Петровной приехали на третий день, уже в темноте. Приехали в рессорной тележке, запряженной грузным лесхозовским меринном Лопухом, известным всей округе своим коварным нором: чуть в пути зазеваешься,пустишь вожжи — мгновенно круто завернет и галопом домой в конюшню.

Стук колес по мосту слышали на кордоне издалека. Бушуй первым вымахнул на дорогу с оглушительным, свирепым брехом.

Пока Василий возился, зажигая фонарь, Фрося с Петром поспешили в лес за Бушуем.

Братья жили дружно, никогда не ссорились, а при случае всегда рьяно заступались друг за друга. Парни в отцовской деревне и поселке лесхоза остерегались задирать их — знали: тронешь одного — придется иметь дело и с другим.

Братья крепко расцеловались и, не скрывая радости встречи, хлопали друг друга по плечу, засматривали в повлажневшие глаза.

— Во, брат,— воскликнул Сергей.

— Да, брат,— в тон ему ответил Петр.

— Как я вам завидую,— тихо сказала Фросе Клавдия Петровна, любясь братьями.— Какое счастье такие дети!

Сергей обнял припавшую к нему мать, по-мужски крепко пожал руку отца.

— Не могу, батя, тебя целовать: куда ни нацелишься — гущина!

— Ничего, Сергунька,— прогудел Василий Кириллович.— Мы с тобой не девки, без поцелуев поздравкаемся.

Клавдия Петровна, маленькая, кругленькая, с тугой заколотой косой и свежими, припухлыми губами, от души расцеловала Фросю и прошептала на ухо:

— Люблю я к вам приезжать.

Кто знаком с жизнью обитателей глухих лесных кордонов, тот знает, какой великий праздник для них встреча с друзьями, приезд на побывку родных.

Пройдет день, другой, разъедутся гости — опять одни, опять лесная тишина, думы о близких, затаенная боль разлуки. Но в душе надолго сохранится праздничное воспоминание о милых лицах, добрых словах, радостном смехе и непринужденном застольном шуме, скрасит оно и докучное шуршание унылого осеннего дождя, и тоскливые голоса зимней метели.

Уже давно прокричали полночь петухи, а Фрося все хлопотала. Она то бегала в кладовую за холодным клюквенным квасом, то в погреб за копченой медвежатиной и сладкой брусникой, то в подпол за маринованными шляпками белых грибочков и за солеными розовыми помидорами, то вынимала из печи жаренных в собственном со-



ку рябчиков. Самовар сменялся самоваром, стопочки опоражнивались и снова наполнялись. Деревенские на сале тертые, ломкие, крутые лепешки, ватрушки, пироги с рыбой — стол не уместал всего добра, выставленного гостям из лесных Фросиных запасов.

Василий Кириллович любовался раскрасневшейся смеющейся женой, поглядывал на увлеченно спорящих сыновей. Он наполнял опустошаемые стопочки и гудел, на удивление самому себе, непринужденно, легко.

Так и прошла бы ночь в праздничной радости, кабы не сорвалась у Аркадия Георгиевича непрошенная фраза:

— Скоро, Кириллыч, ты, как пушкинский рыбак, будешь жить здесь у самого синего-синего моря.

— У какого такого моря? — удивленно воззрился на него Василий Кириллович.

— Ну, Аркашенька,— расхохоталась Клавдия Петровна, отодвигая от мужа стопку с вином,— хватит с тебя, до моря допился!

Но Аркадий Георгиевич, не обращая на нее внимания, расчистил около себя на столе место, вырвал из блокнота листок и быстро провел несколько жирных линий.

— Это Яна,— объяснил он.— Здесь она впадает в Волгу, а вот тут между ее сдавленными берегами будет сооружена плотина, и вся эта местность,— окружил он пустоту карандашом,— на сотню квадратных километров затопится. Понял? Вода дойдет как раз до твоего бугра. До самого кордона.

Упираясь грудью в край стола, Василий Кириллович сосредоточенно всматривался в карандашные линии. Тяжелое раздумье взбороздило лоб глубокими морщинами, глаза потемнели, спрятались за погрузневшими ве-

ками, твердые, сухие пальцы застыли в путаных, густых волосах.

Фрося посмотрела на сдвинутые брови мужа, притихла — неясная тревога запала ей в душу. Клавдия Петровна, заметив перемену в настроении своих лесных друзей, тоже приумолкла. Петро с Сергеем, прекратив спор, с любопытством уставились в чертеж.

— Здесь предполагается организовать огромный деревообрабатывающий комбинат, построить завод стандартных сборных домов, оборудовать мебельную фабрику, ну и, конечно, на берегу моря воздвигнуть новый социалистический город.

Аркадий Георгиевич увлеченно рисовал картину преобразования глухого лесного края в индустриальный центр.

— Приедут инженеры, ученые, появятся десятки тысяч рабочих самых различных специальностей — загудят, заревут мощные механизмы, и лес с его глухоманью, — поднялся над столом Аркадий Георгиевич, — отступит, отойдет далеко, вон туда, — показал он рукой в окно, — за болото.

Василий Кириллович слушал, не перебивая, уставившись в чертеж. Кудлатая голова со сжатыми в волосах пальцами грузно склонялась над столом.

Аркадий Георгиевич не вдруг заметил скорбное молчание лесника. А когда заметил, примиряюще обнадежил:

— Не горюй, старина! И для тебя работы лесной не впроорот останется. Не понравится тут в людском шуме жить — вместе с лесом вглубь пойдешь.

Изрядно утомленные, только перед зарей заснули гости крепким, здоровым сном.

Рассказ Аркадия Георгиевича глубоко взволновал Василия Кирилловича. Кончалась тихая, привычная жизнь в лесу, где он обрел все. Стараясь скрыть свое тревожное состояние, он притворился спящим, но обмануть Фросю не удалось. Она повернула его голову к себе, прижала к щеке, сказала:

— Не расстраивайся, Вася. Когда-то это еще случится.

— Сбудется,— уверенно ответил он и, как маленькую, погладил по волосам. Бережно отстранив ее руку, успокоил: — Спи, а я малость посижу на крыльце.

Ночь выдалась темная, холодная, с неумолчным ветром в шапках сосен. В осенней черни неба золотились звезды, вплотную ко двору дремучей тьмой надвинулся лес.

Проснулся, почуяв хозяина, Бушуй. Подбежал с тихим ласковым визгом, лизнул руку, улегся у ног.

— Так-то вот,— пожаловался ему Василий Кириллович.— Кончилось наше лесное приволье. Куда, брат, денемся?

Бушуй положил голову на его колено, облизнулся, зевнул и ткнул холодным носом в ладонь.

Нерадостные думы тяжким гнетом легли на сердце. Заводы, ревушие гудки, грохот металла, дым каменных труб, многоэтажные здания, бесконечный поток людей— все это, не вмещаясь в сознание Василия Кирилловича, порождало острое чувство своей ненужности, затерянности в людской суете.

— Стало быть, сплошная рубка с раскорчевкой пойдет. Догола на десяток километров. Застонет вековой лесок. Придется рушить гнездо.

Делился своей тоской с Бушуем Василий Кириллович,

положив ладонь на его густошерстную голову. Бушуй молчал, не шевелился, блаженствуя от хозяйской ласки.

Каждую зиму отводились под повал крупные делянки. Василий следил, как, глубоко зарываясь в снег, падают столетние великаны. Но никогда не одолевала его так жалость к вырубленному лесу, как сейчас, когда он представлял себе, как будут валить подчистую квартал за кварталом и аммоналом выворачивать пни с могучими корнями.

— Море,— скорбно рассуждал Василий Кириллович.— На черта оно нужно? Воды не хватает? А лесов хватает? Аль лес дешевле воды? Подсчитали! Учетчики,— с сердцем плюнул Василий Кириллович и вздохнул.— А как гнездо рушить? Шутка сказать! Как сниматься? Куда сниматься? — И, жалея себя, спросил темноту: — Где старость утешить?!

С востока над черными кронами сосен белесой мутью забрезжил рассвет. Ядовитый ветерок пронизывающе забирался за ворот и в рукава полушубка.

Василий Кириллович смотрел на много раз виданное зарождение утра и невесело думал о том, что скоро вместо деревьев зори здесь будут встречать дымные трубы да железные крыши. Вспомнил восторг в голосе Аркадия Георгиевича, широкие, сопровождающие рассказ жесты и зло усмехнулся:

— Ученые! Выучились природу изводить!

Василий Кириллович не мог выразить иначе охватившего его горя. Лес он любил и жизнь свою не мог представить вне его. Сколько раз лес утешал его, спасал от бед. Но он совсем не думал о том, что нарушится его хозяйство, что всего, десятилетиями нажитого, не захва-

тишь с собой. Скупостью Василий Кириллович никогда не отличался.

— Наживем и проживем и снова наживем,— успокаивал он Фросю, когда та печалилась по поводу какой-нибудь домашней утраты.

— Ну что ж, перечить не будем. Против рожна не попрешь — уедем,— решил Василий Кириллович.— Без леса мы как дерево без воды — усохнем. Подадимся вглубь.

Эта простая житейская мысль отчасти примирила с неизбежностью и успокоила.

Пускай уничтожат леса на десятка два километров, пускай затопят низины, болота, снесут родную деревню, но не совсем же он исчезнет. Останется где-нибудь еще такой же дремучий лес.

— Стало быть, не пропадем,— сказал он увереннее.

Бушуй вскочил, заворчал, лязгнул зубами, ощерив огромные белые клыки,— на загровке вздыбилась густая шерсть.

Василий хлопнул его по спине, успокоил:

— Испужался? Так-то и я было напужался. Ан оно и не так-то вроде страшно, как спросонья кажется. Люди из леса будут капитал выколачивать, а мы с тобой охранять его.

Фрося давно наблюдала за Василием, прячась за колонку крыльца. Она понимала, как тяжело ему. Но когда громкий возглас Василия объяснил ей лучше всяких слов состояние мужа, она облегченно вздохнула:

— Слава те господи — переломил себя!

И, сойдя со ступенек, подошла к нему.

Прикрыв полой полушубка, он прижал ее к себе. Молчали, долго слушали предзоровый шум ветра в деревь-

ях. Над качающимися кронами мачтовых сосен занималась заря.

— Ничего, Вася, ребята тут при деле устроятся, а мы с тобой от леса не отойдем: он отодвинется — и мы отодвинемся. По крайности все рядом будем — ребята к нам, мы к ним.

— Чего было — видали, чего будет — увидим, — бодро заключил Василий и, легонько отстранив ее от себя, поднялся: — Пора волчатников будить!

#### 4

Из выводка уцелела одна волчица.

— Сколько годов с волками вожусь, немало перебил, а редко когда в оклад старуха попадала, — сказал Василий Кириллович, связывая ноги убитым волкам.

— А чем ты это объясняешь? — спросил Аркадий Георгиевич.

— Полагаю, потому, что ночью старик промышляет, оставляя семейство на мать, а к утру мать уходит на промысел, оставляя с выводком отца, — ответил Василий Кириллович, просовывая шесты между ног волков. — Заметь, Аркадий Георгиевич, когда подвываешь, старик редко отзовется, все больше матерая волчица подает голос. А потом, глядишь, издали и старик отзовется — это когда самостоятельно поживу ищет.

Волков несли на шестах. Они мерно покачивались в такт ровному шагу.

Выводок подняли в болоте. Логово, как и предполагал Василий Кириллович, волчица облюбовала в самой

чаще, среди бурелома, непроходимо заросшего частым кустарником. Зафлажили два оголенных бока болота, так, чтобы звери пошли к овражному склону.

Требовалось большое умение, огромный опыт, чтобы поднять и вывести волков из такой крепости. Мешали скрытые травой стволы упавших деревьев и крапива выше роста. Сергей было попросился в загон, но отец поставил его на номер — вдвоем Петру с Аркадием Георгиевичем было не охватить весь выход!

Василий Кириллович подвигался, похлопывая в ладоши, постукивая можжевельной палочкой о трухлявые, созревшие стволы.

Два ястреба высоко парили, кружась над одним местом. Тонкий крик их пронзительно раздавался над болотом.

— Логово,— решил Василий Кириллович, следя за недвижимыми распластанными крыльями.

Он гулко крикнул:

— О-го-го-го!

Ястреба вздрогнули, взмыли и заскользили направо, в сторону флажков. «Поднялись»,— подумал Василий Кириллович.

Он ускорил шаг и, перемахивая через деревья, не спуская глаз с ястребов, криками, постукиваниями палки о стволы, направлял выводок в сторону стрелков.

Матерый старик с сединой не спеша, трусцой, вел выводок. Он настороженно косился на алеющие в прогале кустов языки флажков. В пятку ему тянулся голенастый переярок.

Аркадий Георгиевич дуплетом свалил их шагах в тридцати от себя в тот момент, когда старик, обогнув можжевельный куст, остановился и, подняв лобастую морду,

опасливо втянул воздух. Переярок присел, внимательно следя за ним.

От выстрелов галопом вырвались вперед остальные три волка, и их, одного за другим, убили Сергей и Петр.

Волки лежали бурые, с окостенело-прямо вытянутыми передними лапами. Старик был еще живой. Сергей подошел к нему. Дымчато-темная, с ржавым отливом шерсть вздыбилась на загривке, острые клыки цвета слоновой кости впились в корень вывороченного дерева. Обращенный к Сергею глаз сверкал хищной, жгучей злобой. О, если бы вернулись силы для прыжка — взметнулся бы, впился в горло ненавистного врага!.. Но сил не было — только задние лапы скребли землю, разметая сухие листья. Сергей вскинул ружье, выстрелил в бок под лопатку — волк дернулся, разжал пасть, обмяк, отвалил на сторону морду, зубы окрасились розовой пеной, глаза стала быстро заволакивать мутная пленка.

У Сергея между бровей легла суровая, глубокая складка. В это время он очень походил на отца.

Василий Кириллович посмотрел на побледневшее, строгое лицо сына и негромко сказал:

— Зверя надо спокойно бить, без жалости. А ты от жалости и пристрелил его. Чай, не вынес волчьего глаза?

Сергей молча отошел, на ходу продувая стволы. Василий Кириллович устал. Тяжелый гон по валежнику, зыбкому болоту был уже не по годам ему. Он расстегнул ворот рубахи, снял картуз, грузно опустился на прогнивший мягкий пенек.

У Аркадия Георгиевича еще не остыло возбуждение, и он шумно, азартно рассказывал, как показался из-за кустов матерый, как тщательно он выцелил и волк после выстрела отчаянно метнулся и упал, а пе-



реярок после выстрела, как подкошенный, свалился, не шелохнулся.

Василий Кириллович, казалось, внимательно слушал его, но вдруг спросил совсем о другом:

— Не пойму я, Аркадий Георгиевич, на кой потребовалось море делать, всякие заводы тут устраивать? Ай воды людям не хватает либо другого леса не нашлось?

Аркадий Георгиевич недоуменно, испытующе вскинул глаза на хмурое лицо старика и понял, что тот все время думает о своем, целиком им завладевшим, и не слушает его.

— Трудно тебе отдавать свой лес, Василий Кириллович,— сказал он,— тяжело лишаться Яны. Все мне понятно, но иначе нельзя.

Стараясь говорить как можно проще, понятнее, Аркадий Георгиевич объяснил, как образуется водохранилище — море, какой полноводной, судоходной на всем своем протяжении станет Волга, какие огромные выгоды извлечет человек от обновления великой, из года в год мелеющей реки.

— Ты прекрасно знаешь, как обмелела Волга. Песчаные перекаты в меженную пору делают судоходство по ней опасным. Без плотин Волга обречена на гибель.— Аркадий Георгиевич объяснял, насколько проще будет вывозить лес.— Ведь его теперь так много пропадает — гниет на сечах из-за недостатка транспортных средств, тережится во время сплава молеми по рекам.

Василий Кириллович напряженно слушал, сосредоточенно вдумываясь в простые, значительные слова, и тяжесть, камнем лежащая на душе, понемногу таяла.

И пока говорил Аркадий Георгиевич, Василию все эти ночные переживания стали казаться мелкими и несостоя-

щими в сравнении с тем грандиозным, во имя чего придется «потесниться».

— Темнота моя, Аркадий Георгиевич. Какого дела не понял,— сказал он.— Понимаю — зря озлобился: дескать, против меня жизнь повернулась! Нет, я сам от жизни отпихнуться хотел.

— Леса твоего от тебя никто не отнимает,— серьезно заметил Аркадий Георгиевич.— Только работы прибавится вдесятеро, потому что заготовка и вывозка пойдет огромная, сплошь механизированная. Переезд — чепуха. Погрузят на машины все твои пожитки и перевезут. А дом еще лучше выстроят, со всеми удобствами.

— Да я об этом не тужу,— отозвался Василий Кириллович.— Нешто я не понимаю, что мое барахло — сущие пустяки!

Вернулись братья, ходившие вырубать шести для переноски волков. По оживленным их лицам Василий догадался, что и они о чем-то горячо спорили.

Сбрасывая на землю шест, Сергей вызывающе кинул Петру:

— Вот так-то!

— Поживем — увидим, — неопределенно ответил Петр.

Отец с улыбкой следил за сыновьями. Он чувствовал, что между ними произошло нечто значительное.

— Ты чего, батя, смеешься? — спросил отца Сергей.

— Жизнь начинаю понимать, сынок,— серьезно ответил Василий Кириллович.

— Я знал, что поймешь,— ответил Сергей.— И моя специальность,— обратился он к Аркадию Георгиевичу,— думаю, тоже не будет здесь во вред?

— Тут всем работы по горло будет.

Прошло несколько лет.

Карандашный чертежник, некогда изображенный Аркадием Георгиевичем, получил законченное оформление. На месте кордона Василия Кирилловича Борунова вырос промышленный поселок — Яновка.

Катером теперь подводят баржи к длинному пирсу. Хоботы кранов бережно несут с берега к судам лес, ящики с мебелью, части сборных домов, шпалы, крепежные стойки. Над берегом высятся каменные и деревянные корпуса фабрик, заводов, жилых домов. Круглые сутки, во все времена года идет здесь строительство.

От устья Яны, куда с верховья вместе с моём сплывали сплотчики с веселыми подругами, не осталось и следа. Все вокруг на сотни километров затопила перегороденная плотиной Волга. Бескрайнее водохранилище, свирепое в непогоду, сияющее в ведро, по праву называлось теперь морем. Далеко за поселком, в сизой дымке горизонта, темным пояском окантовывал полукружье лес.

В двадцати километрах от Яновки, в новом, архангельской рубки доме, крытом железом, проживал с Ефросиньей Дмитриевной старый лесник Василий Кириллович Борунов. Седой, сутулый, но широкий в плечах, Василий Кириллович являл собою картину крепкой, здоровой старости. Живые, острые глаза по-прежнему светились ясной мыслью и нерастраченной силой. Но густая белая борода и неразглаживаемые морщинки на задубленной коже лица свидетельствовали и о прожитых годах, и о недавно пережитой беде. Старик ссутулился, словно плечи придавила навалившаяся тяжесть.

Заметно изменилась и Ефросинья Дмитриевна. По-блекли щеки, от губ и глаз густо залучились морщинки, а между бровями легла горестная складка. И только когда приезжал Сергей с женой и девочкой, в зрачках загорались прежние искорки, исчезала привычно затаившаяся в глазах тень.

Жуткая весть пришла в зимний вьюжный вечер на третьем году войны: лесхозовский рассыльный привез похоронную. Петр, богатырь и красавец Петр, которого мать уберегла от медведя, не спасся на войне. Подводная лодка однажды ушла на боевое задание и не вернулась. «Подводник Петр Борунов,— сообщала «похоронка»,— пал смертью храбрых, море стало его могилой».

И если бы не врачующая сила леса да не любовь близких, не перенести бы Василию и Фросе этого удара.

Пятеро суток пропадал в лесу Василий Кириллович. Прочтя «похоронную», отвернулся от искаженного мучкой лица жены и на ее немой вопрос прохрипел не своим голосом:

— Не могу в избе...

Схватил ружье, патронташ и крепко стукнул дверью.

Фрося не кричала, не выла, как воют бабы по покойнику. Она как свалилась с «похоронкой» в руках на широкую скамью, так и осталась неподвижно сидеть до утра.

Утром приехал Сергей с женой и дочкой. Увидев их, Фрося поднялась было для встречи, разомкнула губы, но вместо приветствия вырвался из груди страдальческий вопль, руки бессильно упали на стол, голова сникла, пальцы впились в растрепанные седеющие волосы.

Сергей оторвал ее голову от рук, прижал к себе и,

не скрывая, не стесняясь своих мужских слез, целовал мокрые щеки матери, как мог, утешал:

— Перестань, мам. Не надо, мам.

Леночка прижалась к ногам бабушки, лепеча сквозь слезы что-то свое, сердечное, милое, детское. Сноха Ирина, крепко закусив носовой платок, напрягала все силы, чтобы не разрыдаться в голос, и все терла и терла тонкими пальцами пульсирующий висок.

Сердечное участие близких облегчало боль. Сергей с семьей остался ночевать у матери, на другой день, обеспокоенный отсутствием отца, он собрался его разыскивать.

— Ты не трожь, сам справишься,— решительно сказала ему мать,— в лесу он не пропадет!

Василий Кириллович вернулся в сумерках на исходе пятых суток. Отряхнул валенки рукавицей, повесил на стену ружье, снял полушубок, тяжело шагнул к скамье, устало сел, вздохнул.

Ефросинья Дмитриевна, прижав сцепленные пальцы к груди, молча следила за его движениями. А когда Василий Кириллович обратил к ней лицо, она вскрикнула, бросилась к нему, схватила ладонями седую голову и тихо заплакала. Перед ней сидел на десяток лет постаревший человек. Василий ссутулился, побледнел, обтянутые сухой кожей широкие скулы резко очерчивали впадины щек, в черных зрачках вспыхивали искорки.

— Вася... Кириллыч... Эх тебя скрутило как.

Он провел заскорузлой рукой по ее волосам, медленно, твердо сказал:

— Будем жить, мать. У каждого, почитай, такая беда в доме. Люди вона какие дела ворочают—надо, мать, жить!

Глубокая морщина, запавшая между кустистых седых бровей, утверждала непреклонное решение: надо. Да, надо жить!

Ефросинья Дмитриевна провела пальцем по незнакомой ей межбровной борозде и поняла, что это печать жестоких дум и страшной борьбы сильного, лесного человека с самим собой. Она облегченно вздохнула и заторопилась ставить самовар.

Как прожил пять суток в лесу, чем питался, где ночь коротал, какие думы терзали его душу, с какой смертной силой он вел борьбу — никому, ни единым словом, ни единым намеком не выдал Василий Кириллович. А Ефросинья Дмитриевна, понимая, что этого нельзя касаться, и никогда не спрашивала его.

А судьба Сергея сложилась иначе. После института он долго пропадал в глухой тайге в каких-то экспедициях. Писал скупые письма или телеграммы в три слова: «Здоров. Целую. Сергей».

Отец с матерью так и не знали, где он работает, что делает. И вдруг без предупреждения Сергей вернулся к старикам с молодой женой и грудной Леночкой. Его назначили директором лесохимического предприятия, сооруженного за год до войны, недалеко от тех мест, где ранее размещался лесхоз.

Тонкая, худенькая, похожая скорее на подростка, чем на мать, Ирина с ребенком вызвала у Фроси слезливую жалостливость, а у Василия нескрываемое удивление.

— Тоща. Дюже тоща,— бормотал он.

Но оба от души обрадовались невестке, крепко расцеловали ее и принялись усиленно откармливать, твердо уверенные в том, что, «видать, не жирно жилось» и что «для молока ребенку матери требуется настоящий харч».

Не желая обижать стариков, платя им искренней любовью за их заботу, Ирина старалась даже через силу есть все, чем потчевали ее старики.

Сергей рассказал, как после института он много работал в области лесохимии вместе с Ириной, которая на последнем курсе стала его женой.

— Ах ты бессовестный, женился и молчал! — ахнула, всплескивая руками, мать.

— Неладно,— пробасил отец.

— Да я,— рассмеялся Сергей,— боялся писать, что такую тощую в жены взял.

Невестка с внучкой неделями гостили у бабушки с дедом. Бабка души не чаяла во внучке, находя ее «писаной красавицей, умницей и вылитым Сергунькой». Дед подходил к кровати, смотрел на улыбающиеся губенки и бубнил, ухмыляясь в бороду:

— Чего-то, видать, мелюзга тоже соображает.

Самому Сергею редко удавалось посещать родителей. Случались месяцы, когда он приезжал не более одного раза, да и то наспех, без ночевки, без чаепития и обеда.

— Отца-лесника чуждаться стал,— сердито хмурился Василий Кириллович.

— Мог бы, чай, родителей повидать,— вторила ему Ефросинья Дмитриевна.

Но Ирина горячо заступалась за мужа, доказывая, что Сергей остался тем же и по-прежнему глубоко уважает родителей, но перегружен работой, раньше двенадцати ночи домой не возвращается, и обижаться поэтому на него нельзя.

Старики все это и сами прекрасно понимали, но все же очень огорчались долгим отсутствием сына.

Война застала Петра подводником Балтийского флота, а Сергея директором комбината. Услышав по радио страшную весть, он в тот же день явился к секретарю обкома с категорическим требованием отпустить его в армию.

Секретарь — пожилой, тучный от большого сердца человек — спокойно выслушал его, повертел пальцами многоцветный граненый карандаш и просто спросил:

— Фронт без тыла может держаться?

Сергей, находясь во власти горячих чувств, сперва не понял смысла вопроса, а когда понял, растерялся.

— Конечно, не может, — сказал он.

— Так разве долг коммуниста заключается в том, чтобы за счет ослабления тыла отправляться на фронт?

Сергей, густо покраснев, молча поднялся.

— А когда потребуются для фронта люди, подобные вам, обещаю: направим, — протянул ему руку секретарь.

Сергей уже взялся за ручку двери, когда его остановил вопрос секретаря:

— Как ваши старики живут?

— Спасибо, хорошо, — ответил Сергей.

— Передайте им сердечный привет. Хорошие у вас старики!

Так Сергей остался в тылу. Как всегда, поглощенный работой комбината, он оставался требовательным к себе и людям и внешне неизменно был подтянут, аккуратен, сдержан. Именно с этого времени Сергей возмужал, сделался серьезнее, и что-то неуловимо суровое, отцовское, появилось во всем его облике.

Но и его не сломила смерть брата, а какими-то неведомыми путями еще больше приблизила к людям.

Иногда Сергей заставлял себя отдыхать.



— А то с панталыку собьешься,— шутливо объяснял он своему секретарю парткома.

— Езжай, езжай,— спраживал его секретарь.— Без тебя справимся!

Сергей брал ружье, садился в «виллис» и направлялся к отцу в сторожку. Через час, окруженный семьей, он блаженствовал за кипящим самоваром.

## 6

После войны свободных дней появилось больше и поездки под выходной к родителям участились.

Обычно, переночевав, с зарей отправлялись с отцом в лес. Еду на весь день им готовили с вечера Ефросинья Дмитриевна с Ириной. Но заполнять термос Василий Кириллович никому не доверял. Сам наливал в него кипящий чай, затыкал пробкой, завинчивал блестящим колпачком-стаканчиком и бережно вешал на стену поверх патронташа. Первые дни, когда Сергей подарил ему термос, Василий утром наливал из него горячий чай, смотрел на пар и младенчески изумлялся: «Чудеса! Налил в баклажку кипяток, а он не стынет». После неумемного поселкового шума, кислотного запаха цехов и неослабного нервного напряжения в лесу Сергею особенно легко дышалось влажным ароматом зелени и так приятно, так хорошо было беседовать с умным другом — отцом, что притухала боль по Петру и исчезали служебные заботы. Василий Кириллович внимательно слушал рассказы сына о разумном использовании природы, о причинах умирания дерева и способах его сохранения, о химикатах, получаемых из древесины, и применении их в жизни человека.

Василий Кириллович слушал и горестно думал о том, что вот он, всю жизнь проживший в лесу, оказывается, по-настоящему-то и не знает леса. В этом сознании была и обида на свою неосведомленность, и гордость за сына, постигшего превращение дерева в сложные, дорогие, необходимые и полезные вещи.

После такого дня Сергей возвращался к себе отдохнувший, полный сил и энергии.

Секретарь парткома встречал его дружеской улыбкой и крепким рукопожатием.

— Освежился? — спрашивал он.

— Как снова родился! — искренне признавался Сергей.

А годы, как вода в ручье, бежали и бежали. Вот уже и Леночка пошла в школу. Увидев ее в белом фартучке и коричневом платье, бабушка умилилась до слез.

— Ах ты моя умница. Красавица ты моя писаная, — целовала ее Ефросинья Дмитриевна, рассматривая со всех сторон.

Леночка и теперь часто гостила у стариков. Как только в доме раздавался ее голос, из-под кровати, укая, выползал ежик. Девочка брала его на руки, поила из чайного блюдечка топленным красным молоком и гладила аккуратно уложенные друг к дружке костистые иглы.

И пока бабушка бегала от печки к столу, от погреба к чулану, хлопоча об угощении, дед сажал Леночку на колени и обстоятельно расспрашивал о прожитой неделе. Потом отправлялся с ней за перегородку в «живой уголок» — так назвала Ирина комнату, уставленную и увешанную клетками с птицами.

У дупла на суку ловко лущила сосновую шишку белка. Певчий черный дрозд свободно летал по комнате в

зал он.— Долбит. Не меняет своей работы! Долбит, потому как без долбежки пропадет! Да и не умеет он ничего более. Так и я. А ты хочешь меня заставить на старости лет заменить свою долбежку другим делом!

— Не я хочу, а людям так нужно! — начиная сердиться, ответил Сергей.

— Это как так — людям? — не понял Василий Кириллович.

— Так вот, людям!

— Чудно! — Лесник пожал плечами.— Всю жизнь в лесу прожил, людям лес охранял, а теперь вдруг людям другое от меня потребовалось!

Тогда на этом разговор и закончился. Близился закат. Отец и сын молча собрали остатки завтрака и знакомой, едва приметной стежкой не спеша направились к дому.

Когда тропка вывела их на старую, поросшую молодью просеку, Сергей предложил:

— Зайдем на озеро.

— Пошли,— коротко согласился Василий Кириллович.

Сергей любил бывать в тихие предвечерние часы на озере, окаймленном густой осокой, с таинственными темными бухточками у обрывистых берегов и светлыми, просторными зеркалами посредине.

Некогда здесь добывали торф. Глубокая выработка обнажила подпочвенные воды. Они заполнили старые карьеры, соединили их с истоками Яны, и вверх по разливу сюда стала заходить на икромет волжская рыба. Прошли десятилетия, берега обросли тальником, мелководья поросли осокой, и окруженное глухим лесом озеро стало любимым местом гнездования матерых и чирков.

Василий переправил сюда свой старый, легкий челн. Неслышно, как уж, скользил он вдоль кромки стрельча-

той осоки по многочисленным плесам, устраивал в затопленных кустах шалаши для весенней охоты с посадкой, а на обсохших торфяных островках — круговые скрадки с открытым верхом для стрельбы влет на осеннем перелете.

Очарованные сумеречной тишиной, отец с сыном беззвучно плыли по застывшей глади, оставляя за собой вспыхивающий закатными бликами веер. Сергей сидел на дощечке, положенной поперек челна. Стоя на корме, Василий Кириллович без всякого напряжения подгребал длинным, окованным внизу веслом.

Могучая фигура лесника, Сергей с ружьем на коленях, острый нос и лоснящийся борт смоленого челна цветной фотографией перевернуто скользили в воде. Хмурый старик, казалось, ничего не замечал, погруженный в какие-то свои думы, но в действительности зоркие глаза из-под нависших бровей остро наблюдали за всем, не пропуская ни малейшего шевеления осоки, ни трепыхнувшейся под пичужкой ивовой ветки, ни ровного кружочка от разыгравшейся рыбешки.

Неслышно подплыли к островку, врезались в гущу высокой, спрятавшей челн осоки. Василий Кириллович положил весло на борта, сел на него, взял ружье в руки и, переведя предохранитель, стал ждать.

Сергей напряженно вглядывался в горизонт. Оба молчали.

И вдруг в чутком безмолвии возник острый, вибрирующий посвист стремительного полета, и через секунду сбоку, где-то за осокой, на воду шумно села утка.

Сергей резко повернулся, накренил челн. Василий строго погрозил пальцем, недовольно покачал головой. И снова — тишина.

Из оранжевого заката низко над пылающими макушками леса показалась стайка, потянула над осокой в их сторону. Выстрелы громом раскатились над озером, и в воду смачно плюхнулись четыре утки.

Из осоки, с заводей, взметнулась вспугнутая дичь, взвилась в поднебесье, разлетелась кучками, покружила над лесом, над озером и, успокоенная вновь воцарившейся тишиной, вскоре опять опустилась на обсиженные места.

Перелет шел дружный, густой, в одном направлении. Сергей с отцом, верные своему правилу — убивать не больше нужного для еды, застрелили еще пару молодых селезней и долго сидели с разряженными ружьями, любуясь вольным летом птицы. Тронулись в путь, когда начало сереть и в небе загорелась яркая звездочка, ртутной каплей отраженная водой.

Выехали, шурша осокой, на середину. Рядом шумно сорвалась матерая. Тревожно крякая, она повела молодняк с селезнем в другую сторону озера, к затушеванной гряде леса.

Отец и сын пристали к берегу, укрыли челн под нависшей ветвистой ивой и пошли. Вскоре Сергей возобновил прерванный было разговор. Но на этот раз начал он издалека.

— Сколько у нас неоправданной жестокости, — с жаром говорил он, — дикости, глумления над живой природой!.. Что такое наш любитель-охотник? В подавляющем большинстве — кровожадный, невежественный убийца! Лишь бы застрелить! Лишь бы побольше притащить домой да похвастать набитой дичью. Помнишь, как ты мне всыпал, когда я вернулся с полным ягдташем рябчиков? На всю жизнь запомнил! А если бы ты не научил меня

жалеть и беречь дичь, разве я отогревал бы в своих ладонях тетеревенка? Человек, хотя бы раз увидавший, как старка выводит тетеревят, как самопожертвенно оберегает их от смертельной опасности, не может не почувствовать уважение и любовь к ней, не сможет зверски уничтожить ее. А ежели он увидит, как мы сегодня, утиный перелет, жировку, озеро во всей его нетронутой красоте, разве не вспыхнет у него тяга к природе, не зародится теплое чувство к ней. А ведь с любовью к природе растет и любовь к отчизне, привязанность к своей родине, к своему народу. Ты понимаешь меня, отец? — спросил он, заканчивая свою пылкую, казалось, давно обдуманную речь.

— А ты думаешь — я в институте не обучен, так и понимать не могу? — с нескрываемой обидой прогудел Василий Кириллович. — Понимать-то я понимаю. Дело оно, вестимо, доброе. Только, как меня к нему пристегнуть, надо подумать.

Дома разговор этот больше не возобновлялся, но по сосредоточенному лицу старика было видно, что он глубоко запал ему в душу.

Ночью, лежа с открытыми глазами, Василий Кириллович шепотом признался Фросе:

— Взбаламутил меня Серёга! Говорит — надо молодежь к лесной жизни притягивать, чтобы полюбили ее и дичь берегли.

Горячо поддержала Фрося сына:

— Беспременно, Вася, займись этим делом. Ребятки-то как будут довольны! Ты гляди на Леночку — так и обмирает по птицам и зверушкам.

Утром, повиснув у деда на шее, расцеловав плачущую бабуку и обняв Ласку, пообещав «непременно, не-

пременно» в субботу приехать, Леночка уехала с отцом.

День отъезда, как всегда, был угнетающе одиноким, пустым. Потянулись унылые, дождливые дни. Над лесом плыли густые, злые тучи, и он гудел и злился на суровую, неприветливую погоду.

Василий Кириллович давно убрал в подпол улья с пчелами, давно обложил завалинку вокруг дома землей и перестал выгонять со двора Белянку. Ефросинья Дмитриевна залила горшки с маринованными грибочками коровьим маслом, заполнила погреб кадками, бочонками, липушками, бутылками со всяческими запасами на зиму — огурцами, капустой, помидорами, брусникой, медом, малиновыми и рябиновыми настойками, лекарственными травами: полынью, ромашкой, шиповником, подорожником, мятой. Смешанный запах маринадов, квашенья и чего-то еще терпкого и пряного наполнял прохладную темноту погреба.

Вечерами на кордоне все чаще слышался вой волков. Ласка вздыбливала атласный волос на загривке, начинала скулить и жалась к ногам Василия Кирилловича.

Изредка наезжал Аркадий Георгиевич. Со смертью Клавдии Петровны он осунулся, постарел, и даже в голосе появились старчески-дребезжащие ноты.

После войны его назначили директором лесхоза. Вместе со своим другом Василием Кирилловичем он отводил лесосеки, придирчиво следил за соблюдением заготовителями правил эксплуатации и лесоохраны.

Больше прежнего Аркадий Георгиевич любил теперь бывать в сторожке Борунова, где неизменно встречал радужное хлебосольство, сердечное участие и теплый избыной уют. Он всегда приезжал с ночевкой.

Ефросинья Дмитриевна с деликатностью чуткого человека никогда не расспрашивала его о гибели Клавдии Петровны, которая, не желая расставаться с мужем, вместе с ним ушла в партизанский отряд. Она погибла, случайно попав под пулеметную струю во время обстрела леса фашистским летчиком. Аркадий же Георгиевич при встрече с Фросей часто вспоминал былые веселые наезды на Яновский кордон. Приезжал он в рессорной, легкой на ходу тележке, а зимой в низких, нераскатистых, с подрезами саночках, запряженных ленивым и надежным меринном.

Опираясь о твердую руку Василия, трудно поднимался с сиденья, неторопливо переваливаясь, шагал к крыльцу и хрипел, стараясь казаться непринужденно бодрым:

— Дмитриевна, не допусти помереть без чая!

Пока Ефросинья Дмитриевна хлопотала возле стола, Аркадий Георгиевич рассказывал лесхозовские новости и расспрашивал Василия Кирилловича о работе в лесу. И Василий Кириллович всегда откровенно делился с ним своими заботами. Рассказал он ему и о предложении Сергея.

— Эх, какое это дело, Кириллыч! — воскликнул Аркадий Георгиевич. — Это, брат, такой след после себя оставишь! Одобряю, Кириллыч, полностью одобряю!

Уезжая, Аркадий Георгиевич пообещал специально по этому делу наведаться к Сергушке и обстоятельно все с ним обмозговать.

Но шли недели, а Сергей молчал. Казалось, горячее желание сына потонуло в повседневной суете.

Зима в этом году стала сразу. С вечера задул ядовитый ветерок, ночью окна затянулись узорами, а утром



уже всюду выпукло лежал нетронутый-чистый снег. В воздухе появилась особая, ядерная звонкость.

Очень любил Василий Кириллович этот первый снежный день, с острым свежим холодком, искристым сиянием и сказочным убранством леса.

Он вышел, как всегда, задать корове сена и замер, ослепленный сверкающей белизной. Ласка вырвалась из неплотно затворенной двери, играючи закружилась, заметалась по двору, бороздя и взметывая сильными лапами снег, на бегу хватая его горячим, алым языком. Подвижная и порывистая, она выражала такой беспредельный восторг, что Василий Кириллович по-егерски молодецки крикнул:

— Давай!.. Дава-а-ай!..— И запорскал, озорно играя голосом: — Ай-яя-аа-ай!.. Ую-юй!.. Агы-ы-ы!

Весь день супругов не покидало праздничное настроение, и казалось, вот-вот приедут гости.

Ефросинья Дмитриевна изжарила к чаю любимые Сергеем густо обсахаренные гренки, а к обеду устроила пельмени. Пока Фрося убирала и мыла посуду, Василий занимался с Леночкиными питомцами. Живой уголок притих. Пичуги нахохлились, прижались к уголкам клеток, приумолкли. Только белка по-прежнему беззаботно носилась по комнате и, проголодавшись, весело шелушила у дупла еловые шишки.

— Что, свистуны, испужались? — добродушно обратился к ним Василий Кириллович и ворчливо успокоил: — Сейчас подогреем. Сейчас мы вам лето устроим.

Он грузно опустился на колени у лежанки, чиркнул спичкой и поджег пахучую, затрещавшую бересту. С вечера приготовленные, короткие сосновые чурбашки

вспыхнули дружно, жарко, распространяя смолистый аромат и приятное тепло.

Через час комната снова наполнилась переключением птичьих голосов, их беззаботной, живой суетней.

Но никто в тот день к ним так и не приехал.

## 7

А вот однажды в субботу комбинатский автобус неожиданно привез школьников. Их сопровождал длинный нескладный учитель в роговых очках и подшитых коротких валенках. Он привез от Сергея письмо.

«Отец,— читал Василий Кириллович,— снова задержали дела. Приеду в следующую субботу. Податель записки — преподаватель нашей школы и руководитель кружка юннатов, Григорий Ефимович Мостовой. Он очень просил меня устроить эту поездку в лес. Покажи ребятам заячьи следы. Но если тебе в тягость — отсылай домой, я уж как-нибудь оправдаюсь. Пусть мать не хлопочет с едой — ребята захватили с собой завтрак. Леночка ревет — мать ее не пустила.

Сергей».

— Что же мне делать? — сдвинув кудлатые брови, спросил Василий Кириллович.

— Видите ли, Василий Кириллович, какое дело,— надтреснутым, неуверенным голосом конфузливо пояснил Мостовой,— теоретически ребята знакомы с жизнью обитателей леса, а вот на практике — невежды. А именно она-то и нужна им, ведь только она и может приохотить к природе.— Он улыбнулся, показывая неровные, редкие зубы.

— У меня по двору зайцы не скачут,— с усмешкой прогудел лесник.— Надо их в лесу искать. И не около дома, а у болота, возле стогов.

— Вот и прекрасно! — обрадовался Григорий Ефимович.— Мы с Сергеем Васильевичем именно того и желали, чтобы ребята с вами по лесу ходили.

— Та-ак,— раздумчиво погладил бороду Василий Кириллович.— Стало быть, Серега затею свою не забыл,— сам себе сказал он и строго оглядел выжидательно притихших ребят.

Все почти одинакового возраста, лет двенадцати-тринадцати, у всех доверчивые, ясные глаза и свежие, покрасневшие на морозе лица. Теплые шапки и валенки свидетельствуют о нешуточном их намерении бродить по лесу. Только один мальчик был в кепке, плисовых штанишках и кожаных ботинках. Он зябко ежился, пряча руки в рукава ватника не по росту, и терся застуженным ухом о плечо.

— Тебя как звать? — обратился к нему Василий, внимательно осматривая неподходящую его одежду.

— Алексей,— робея ответил мальчик.

— Лешей? — Василий вскинул голову, пристально уставился на него и зажмурил глаза. С необычайной яркостью вдруг возник перед ним Алешка — белесый хохолок, сияющие глазенки... Василий Кириллович шагнул к мальчику, положил тяжелую ладонь на плечо и, пряча под нахмуренными бровями и ворчливой гущиной голоса острую отцовскую боль, прогудел: — Иди-кась, отогрейся...

Ефросинья Дмитриевна, стоя сзади мужа, рассматривала ребятшек. Она поманила к себе застеснявшегося мальчика и за руку потянула его в дом.

— Ты, Лёнюшка, не стесняйся. На-ка, надевай. Надевай, надевай, не бойся, нет тут ничего зазорного.

Ефросинья Дмитриевна заставила Алешу надеть теплый Леночкин лыжный костюм, свои шерстяные чулки и валенки. Обмотав для плотности ноги байковыми портянками, пристегнула к рукавам булавками свои пуховые рукавицы и вместо кепки нахлобучила Леночкину ушанку. Усадив мальчика за стол, она поставила перед ним кружку топленого горячего молока, пирожки. И пока он, обжигаясь, пил и ел, успела узнать, что мать его — уборщица на комбинате, что у него две сестренки и братишка, что папаню немцы убили, старшая сестра замужняя, младшая в вечернем техникуме учится и в лаборатории работает, а ему уже четырнадцатый год и он в седьмом классе.

Ефросинья Дмитриевна слушала, незаметно кончиками косынки смахивая непрошенные слезинки, и все подсовывала, подвигала к мальчику подовые пироги.

— Да ты жуй, жуй. Не бойся, без тебя не уйдут,— говорила она.

Когда Алеша появился на крыльце, Василий Кириллович внимательно оглядел его и неожиданно заключил:

— Ну, коли так — пошли! Пока обряжусь,— обратился он к Григорию Ефимовичу,— вы полегоньку шагайте дорогой, которой приехали, я догоню.

— А ты пойдешь или останешься у машины? — спросил он у шофера.

— Да уж не знаю,— нерешительно ответил тот.

— Коли пойдешь, захвати топор,— Василий Кириллович махнул в сторону сарая и повернулся к двери.

Фрося сидела у окна, подперев щеку ладонью.

— Мальчонка теперь не замерзнет,— заметил Васи-

лий Кириллович и взволнованно прогудел: — Алешкой звать.

Ефросинья Дмитриевна пытливо посмотрела на его склоненную голову и тихо спросила:

— Первенец привиделся?

Василий Кириллович грузно опустился рядом с ней на лавку и, сдерживая дрожь голоса, признался:

— Словно живой: хохолок, глазенки — аж сердце зашло...

— Сиротинкой растет. Отца, как и Петра, убили,— прошептала Ефросинья Дмитриевна.

Василий Кириллович молча погладил ее сидящие, туго зачесанные волосы и стал собираться в лес — обул высокие мягкие валенки, надел короткий, удобный в ходьбе полушубок, положил в карман на случай встречи с рысью крупнокартечные снаряды, легко закинул за спину наполненный Фросей рюкзак с едой, повесил на плечо ружье и крупно зашагал по дороге. Впереди раздавались звонкие детские голоса.

— Молоко горячее в термосе — не забудь Алешу покормить! — услышал он последнее напутствие жены, заворачивая за густой, заиндевелый можжевельный куст. И так легко стало на душе, что зычно крикнул:

— О-го-о-ой!

Лес ответил разливистыми голосами ребят.

Этот первый день в лесу с детворой навсегда остался в памяти Василия Кирилловича и его учеников. В заснеженном, спящем лесу неожиданно оказалось столько захватывающе интересного, что ребята не заметили, как перестал сверкать снег и начали быстро наступать сумерки, исчезли голубые тени. Обратились, плотно окружив лесника, шумно делясь с ним впечатлениями.

Заячий след, на который сразу они наткнулись, почти никого не удивил: уже много раз видели его на картинках, а некоторые даже на огородах вблизи поселка. Но когда набрели на путаницу следов, когда ребятам показалось, что тут было много зайцев, сразу началось увлекательно-интересное, незнакомое.

— Это все один напетлял,— пояснил Василий Кириллович и, строго приказав не ступать на след, рассказал, как косою обманывает собак и охотников.— Напетляет, накружит, метнет в сторону и пойдет чесать обратно старым следом. Не всякая собака разберется. Не каждый охотник найдет правильный путь. Во, глядите! — И, палочкой тыркая в следы, лесник, как по карте, указал ребятишкам ход зайца.— Вот он сиганул. А куда, в какую сторону — опять-таки глядите по следу. Видите, как задние лапы снег отшвырнули? Стало быть, изо всех сил прыгнул. Вот они, ноги-то. Вот такое направление,— указал он ладонью.— Ну, тут и ищи! Ежели залег — сейчас подыдем. Ежели утек — то к старому своему следу обратно.

Ребята, притихнув, не спускали глаз с деда.

— Сейчас мы его обложим! Алеша,— распорядился Василий Кириллович,— ты веди девочек цепочкой вокруг вон того куста и все станьте сзади него шагах в двух друг от друга. Ты, Григорий Ефимович, с ребятами зайди отсюда, чтоб боковину охватить. А ты, друг, — обратился он к шоферу,— с этого бока становись с ребятами. Как дойдете — стойте не шевелясь. А мы выгоним косога, и вы увидите, как он сиганет. Гляди в оба! И чтоб ни кашля, ни смеха — молчок.

Дети шагали крадучись, беззвучно, поглощенные охотой.

Через некоторое время, когда все встали на свои места, Василий Кириллович с двумя девочками и тремя мальчиками плотным фронтом двинулся в середину. Не доходя еловой поросли, по маковку засыпанной снегом, он гулко хлопнул рукавицами, запорскал:

— У-юю-ий, аа-ай-аии! Дава-аа-ий, берегий!

И в тот же миг из-под елочки вымахнул ладный белячок, сильно отшвыриваясь задними ногами, стремительно поскакал прямо на Алексея с девочками.

Они испуганно и радостно, пронзительно-высоко завопили:

— Ай, ай-ай!

— Вот он! — не помня себя, крикнул Алеша.

— Держи-и-и! — подхватили голоса сбоку.

И забыв обо всем на свете, видя перед собой только зайчика — конька, гурьбой побежали за ним.

Василий Кириллович, скинув рукавицу, гладил белую густую бороду — в сощуренных глазах теплились добрые, живые искорки.

Такого — сразу встретить живого зайца в настоящем лесу — даже Григорий Ефимович не ожидал. В волнении, зарываясь подшитыми, тупоносими валенками в снег, он подбежал к Василию Кирилловичу и, не зная, как выразить свое восхищение, сняв шапку, взъерошил жидкие, худосочные волосы.

Поднятый самими ребятами заяц сразу превратил холодный, застывший лес в сказочную явь, таившую в себе увлекательные неожиданности. А угрюмый суровый дед тут же преобразился в сказочника-чародея, открывающего неведомые таинства.

Тщетно пытаясь догнать зайца, ребята набегались до упаду и вернулись раскрасневшиеся, взбудораженные, с

сияющими глазенками. Жарко дыша, толкая друг друга, чтобы быть как можно ближе к деду, они все сразу заговорили, забросали его вопросами:

- Где зайка лежал?
- Как вы его подняли?
- Куда он смотрел?
- Когда он спит — глаза закрывает?
- А во сне он слушает?
- Куда он теперь удрал?

Василий Кириллович, терпеливо слушая возбужденный их гомон, прятал в усах улыбку. А когда все в досталь нашумелись, он спросил:

— Вот что, ребята, вы приехали дело делать ай игрушки играть? Ежели дело — давайте по-деловому его делать. Ежели в игрушки — валяйте за зайцем гоняйтесь. Авось за хвост уцепится, который попрытче!

Ребята дружно захохотали.

— Эх, вы!

Смех оборвался.

— Его собака не догонит, а вы в валенках, по снегу. И ты туда же? — обратился он к Алеше. — А я-то тебя вроде как звеньевым назначил. Авось, думаю, у него голова пошустрее ног. Ан, вишь ты, в ногах-то прыти больше оказалось!..

Алексей покраснел и отчаянно шмыгал носом, боясь утереться бабушкиной рукавицей. Он низко наклонил голову и виновато прятал глаза от деда. Учитель с шофером улыбались, любуясь сконфуженными лицами детей.

— Ну, да ладно, — примиряюще закончил Василий Кириллович. — Это вам наперед наука: с зайцем в догонячки не играть. А теперь поглядим, как беляк дневал. Пошли к лежке!



Старым следом вернулись к елочкам.

— Во, смотрите,— указал Василий Кириллович на вмятину с четким отпечатком задних ног.— Ишь какая постель! Поджался, обогрелся, уши за спину, ветер в нос, чтоб под шерстку не задувал и звуки доносил.

Ребята внимательно разглядывали заячью дневку. Рассказ деда помогал им ясно представить, как после ночной жировки сытый беляк лениво набрел на заснеженные елочки, облюбывал под нижней веткой удобное местечко, опетлял его, ушел в сторону, вернулся обратно, метнулся к другой елочке, от нее — к третьей, опять длинными прыжками к прежнему месту и только после этого сделал последнюю сметку под куст и залег. Все это прочитал по следу дед.

Сначала Василия Кирилловича смущало присутствие учителя. «Чай, ему все это по книгам известно,— думал он.— Небось Серега его прислал за детьми приглядывать, а он слушает да потешается!» Но, заметив, с какой ребяческой увлеченностью и неподдельной заинтересованностью Григорий Ефимович слушает его и рассматривает следы на снегу, успокоился, почувствовал себя увереннее. И объяснения теперь получались более обстоятельными и интересными.

Вскоре набрали на лисий ход. Точеные лапки аккуратно погружались в неосевший, податливый снег, печатая ровный, спокойный шаг ясным пунктиром. Пройдя километр обочь следа, ребята увидели взрыхленную площадку, крестообразные отпечатки птичьих лапок, какие-то царапины и резкие полосы.

— Ишь, хитрюга, к тетеревам кралась,— объяснил Василий Кириллович.

И, продолжая идти по следу, он рассказывал о том,

как тетерева в метель зарываются в снег, как, угревшись в подснежной тишине, чутко дремлют, а от дыхания их через снег наружу просверливаются дырочки. Рассказал он и о том, как хитрая лиса, предвкушая лакомую добычу, беззвучно кралась к этим дырочкам, к едва заметным, выросшим над тетеревами бугоркам, и, точно рассчитав, прыгнула, подмяв под себя пойманную птицу.

— Вот, глядите, как она ползла. Ишь какую борозду брюхом промяла! А шаг какой крошечный делала. Еле двигалась. А вот и прыжок. Здесь она накрыла тетерева. Вот пушок, капли крови. Поволокла, а тетерев крылья распустил и резал ими снег — видите, следы и полосы. Услышав возню, все остальные тетерева разом взлетели: ишь как снег разворошен, словно ногами кто его расковырял.

— Дедушка, а куда она тетерева утащила? — весь охваченный любопытством, дернул Василия Кирилловича за рукав Алеша.

— Надо быть, — ответил Василий Кириллович, — что-то помешало ей тут разделаться с добычей. Она, bestия, осторожная, кого-нибудь испугалась. Да это мы сейчас узнаем. Ну-ка, пошли по ее следу!

Рядом с лисьей цепочкой тянулись то глубокие полосы, то чуть заметные царапины. Иногда попадались крошечные капли крови и разметанный снег — свидетельство тщетных попыток тетерева вырваться из зубов лисы.

— Вот оно дело-то какое, — наклонился под деревом Василий Кириллович. — Куница! Она тоже охотилась за тетеревами. Видите — следы ее лапок. Лиса хитрая, а куница злая, смелая, зубы как шилья — лисе с ней драться несподручно. Вот она и поволокла тетерева от греха подалее.

Через несколько шагов ребята нашли перья, кровь, куриные лапки тетерева.

— Вот и конец,— остановился Василий Кириллович.— Тут она нажралась и отправилась к себе в нору спать.

Ребята смотрели, плотно окружив место лисьего пирра. Снег без слов рассказывал о происшедшей здесь недавно кровавой драме. Вот гладкая примятинка — это лиса опустила на вытянутых лапах, чтобы перегрызть горло тетерева; вот судорожное, смертное трепыхание и розовые брызги кругом; вот укатанный круг и желтые ворсинки: лиса, насытившись, играла, каталась по снегу.

— Молодая,— заключил Василий Кириллович.

На снегу лежал лисий помет. От него тянулся спокойный ровный след в чащу.

— Теперь давайте закусим — да ко дворам.

Но ребята дружно запротестовали, загалдели — они сыты, не устали, пусть дедушка отдохнет и еще что-нибудь покажет! Василия Кирилловича тронула забота детей.

— Неугомонные,— довольно пробурчал он и, минуту подумав, решительно скомандовал: — Ну, коли так, пошли к болоту!

День погас незаметно. Морозило. Закат горел багровым полымем. В лесу густел сумрак. Суматошно кричала ворона. Предвечерний ветер плыл над кронами деревьев, и они, разбуженные, покачивались с недовольным, глухим ропотом. В темных далях мерещилось загадочное, страшное.

Притихшие ребята плотнее окружили взрослых.

Сквозь переплет заиндевелых голых ветвей блеснула звездочка.

— Захолодает,— посмотрев на небо, прогудел Василий Кириллович и зашагал быстрее.

В широком прогале дороги сразу стало светлее. Девора ожила, загомонила, делясь необычайными впечатлениями дня. Даже простодушный, все время улыбавшийся шофер удивился.

— Ну и дела! Сколько раз всякие эти следы видал, а вот на, поди ж ты, и невдомек, что все они что-нибудь да обозначают. Вот оно что значит специальность,— глубокомысленно заключил он, обращаясь к леснику.

Ефросинья Дмитриевна, несмотря на предупреждение Сергея, сварила ребятам суп в двух артельных чугунах, которые держала для косцов. Поставила в печку томиться четыре крынки с молоком. «С морозу как славно горяченького похлебать! Не разорят, а сытые домой поедут»,— думала она.

Она много раз уже выходила во двор, за ограду, аукала, а Василий с ребятами все не возвращался. Когда же по снегу легли длинные синие тени и макушки сосен окрасились кровавым морозным закатом, Ефросинья Дмитриевна растревожилась и решила идти с Лаской в лес. Но только она сошла, поскрипывая ступеньками, во двор и подумала — не вернуться ли за Сергеевым ружьем, как послышался мягкий рокот мотора, а через минуту в распахнутые ворота вкатила Сережина машина.

Первая, как всегда, выскочила Леночка, обняла прыгающую Ласку, бросилась бабке на шею и, не раздеваясь, побежала в свой живой уголок.

Сергей переобулся в нагретые валенки, заменил пальто овчинным полушубком, взял ружье и крикнул:

— Леноч, хочешь со мной деда встречать?

Леночка, в белой меховой шубке, в белых валенках и

белой шапочке — настоящая снегурочка, выскочила во двор.

В темнеющем небе дрожала звезда. Вкусно, смачно хрустел снег под ногами.

— Папка,— шепотом спросила Леночка,— а нас волки не задерут?

— Внучка лесника, дочь охотника никого не должна бояться в лесу,— ответил Сергей.

— Нет, папка, я не боюсь, но только почему-то страшно...

Сергей расхохотался, поднял девчурку на руки, крепко расцеловал и, опустив на дорогу, побежал.

— Догоняй,— крикнул он дочери.

Так, смеясь, они добежали до поворота и, запыхавшись, остановились.

— Ну как? — спросил Сергей.

— Ничего, то есть, ничегошеньки, папка, мне теперь не страшно!

Издали донеслись суматошные голоса.

— Идут!

— Стой, Ленка,— хитро подмигнул ей Сергей.— Давай спрячемся, посмотрим, как деда ребята тормошат.

Прыгнули с дороги в снег, присели у запорошенного можжевельного куста. Голоса приближались. Перебивая друг друга, все говорили сразу. Время от времени в звонкий детский переклик вплетался густой, низкий, бурчливый голос.

В плотном окружении детворы неторопливо шагали Василий Кириллович, учитель и шофер.

— Руки вверх! — выскочила из-за куста Леночка. Сергею пришлось тоже вылезти.

Ребята, увидав директора, мгновенно притихли. Василий Кириллович нахмурился.

— Ты откуда, стрекоза, явилась? — спросил он Леночку, когда она повисла у него на шее.

Сергей просто ответил:

— Предполагалось собрание, но его отменили. Вот мы и решили к тебе нагрянуть. Ну как, хорошо погулялось?

— Ах, как чудесно! — протягивая ему руку, проговорил Григорий Ефимович. — Думаю, что ребят теперь от Василия Кирилловича не оттянешь!

— Как, ребята, интересно с дедушкой? — обратился Сергей к ребятам, и те искренне, благодарно зашумели:

— Дедушка замечательный!

— Он все знает!

— Мы еще к нему приедем!

— Мы зайца подняли!

По дороге Василий Кириллович негромко рассказал сыну про Алешу. Упомянул про хилую одежонку, про мать, воспитывавшую детей на скудный заработок уборщицы, и строго подытожил:

— Отца его, как Петю, убили!

Словно чувствуя себя виноватым, Сергей сказал отцу:

— Дела ворочаем большие, а вот про таких Алеш забываем, — и осуждающе заключил: — Нехорошо это! Ничем не может быть оправдано! Спасибо, отец, за науку.

Василий Кириллович остановился и подозвал Алешу:

— Нельзя ли тебе, Леша, остаться? Нужен ты мне будешь в лесу. Директор вот напишет матери записку, чтоб не тревожилась. А завтра с ним поедешь.

От неожиданной радости Алеша не знал, как ответить. Моргал пушистыми ресницами и молча улыбался.

— Ну вот, стало быть, и так,— решил Василий Кириллович.— Вот, стало быть, Леночке помощник в живой уголок нашелся.

Этот вечер в жарком доме лесника, как и весь день, навсегда запомнился и детворе и взрослым.

Григорий Ефимович с шофером и детьми отказались от Фросиногу ужина.

— Помилуйте, столько хлопот Василию Кирилловичу причинили, да еще кормить такую ораву! — прижимая ладони к сердцу, неловко топчась на месте и страшно конфузясь, отказывался за всех Григорий Ефимович.

— Спасибо, мы не хотим. У нас есть,— вежливо, тоненько проговорила девочка и спряталась за спину подружки.

Фрося ахала, всплескивала руками, стаскивала с ребят шапки, а Василий Кириллович прогудел:

— Коли уж наварила — нечего отказываться, раздевайтесь!

Но ребяташки, предводительствуемые учителем, упорствовали. Из трудного положения неожиданно вывела всех Ирина.

— Вы напрасно, друзья, отказываетесь,— сказала она.— На обед из директорского фонда специально для экскурсий юннатов отпущены средства. Правда, Сережа?

Сергей удивленно посмотрел на нее, но подтвердил:

— Ну, конечно, правда! Мы заранее купили и привезли сюда продукты.

Тогда, свалив в кучу на пол одежду, детвора плотно

уселась вокруг стола, и два чугуна мгновенно были опорожнены. Двумя партиями, по очереди, из кружек пили вкусное, закрасневшееся молоко.

## 8

Если бы несколько лет тому назад старому лесовщику, Василию Кирилловичу Борунову, сказали, что он станет вожаком, другом детворы, а его дом в лесу с русской печью и широкими вдоль стен лавками превратится в место шумных сборищ, он принял бы эти разговоры за шутку. Ведь больше всего в жизни он ценил тишину и покой. А случилось именно так. Дед Василий стал кумиром ребят, а бабушка Ефросинья — самой желанной бабушкой на свете.

Приезжали дети, лесник ходил с ними в лес. И незаметно ребята, их интересы и увлечения занимали все больше и больше места в жизни стариков. Повседневные хлопоты, которые раньше были самыми важными в их жизни, постепенно вытеснялись заботами о ребятах, о деле, из-за которого они приезжали в лес.

Отпуск древесины, наблюдение за разработкой делянок, обход участка — все это хотя и по-прежнему добросовестно выполнялось Василием Кирилловичем, но уже не было главным для него.

Очень скоро ребята научились безошибочно разбираться во всех следах. Они уже легко различали лапы беляка от русака, собаки от волка, лисицы от куницы, ласки от белки, тетерева от глухаря, сороки от вороны.

Ребята знали, в каком квартале какая водится дичь, и смело без дедушки отправлялись к своим зверушкам и птицам. Леночка с девочками пополнили живой уголок



дятлом, кротом, воробьями, чечетками, снегирями и двумя белыми куропатками.

Григорий Ефимович стал записывать в толстой клеенчатой тетради передвижения зверей и пернатых, проживающих в обходе Борунова, а ребята заносили в дневник юннатов свои наблюдения и интересные случаи. Алеша с приятелем-одноклассником, тепло укутавшись в тулуп, однажды всю морозную, лунную ночь пролежали в стогу, наблюдая кормежку зайцев.

Иногда вечерами Василий Кириллович читал вслух Ефросинье Дмитриевне записи ребят.

— Экие дотошные,— не без гордости замечала она.

— Большое ты дело делаешь, Кириллыч,— серьезно сказал ему однажды Аркадий Георгиевич, наблюдая, как девочки приучали белую куропатку клевать зерна с протянутой ладони.

— Пустяки,— отмахивался Василий Кириллович.— Экое дело — ребятам лес показываю.

По-другому к занятиям отца с ребятами относился Сергей. Он не восторгался его работой, не надоедал учительными рассуждениями о воспитании молодежи, но живо интересовался тем, как ребята проводят время в лесу. Он был в курсе всех их намерений и всегда, чем мог, помогал.

Василий Кириллович понимал, что если бы не Сергей, ему с ребятами никогда бы не удалось построить вольеры для пойманных в лесу зверей, расширить живой уголок, приделать к стенам стволы деревьев с ветвями, прорубить широкое, светлое окно, устлать земляной пол дерном. Знали про это и ребята.

А Ефросинья Дмитриевна откровенно одобрила:

— Правильно, Сереженька! Пока можешь — помо-

гай. А уж коли не в твоей власти будет — на нет и суда нет!

Как-то исподволь возникла мысль превратить живой уголок в биостанцию, и Сергей энергично взялся за ее организацию. О ней теперь горячо рассуждали при всех встречах.

В вольере жили три лисы, две куницы, четыре белки и пять беляков. По двору ходил приятель деда, питомец Алеши — лосенок, а в живом уголке так много стало птиц, что девочки все настойчивее просили Сергея Васильевича выстроить для них особое помещение.

Григорий Ефимович, сократив до одного дня в неделю свои уроки в школе, все остальное время проводил в лесу. Но и вдвоем с Василием Кирилловичем они не в силах были справляться с работой в питомниках и поэтому установили постоянные, сменные дежурства. Юннатская машина каждый день после обеда привозила трех мальчиков и двух девочек, а вечером увозила их обратно в поселок. Алеша же больше жил на кордоне. Ни уговоры матери, ни страхи Ефросиньи Дмитриевны не удерживали его дома. Он приезжал с машиной, ночевал, а утром, затемно, чтобы успеть к школьным занятиям, тридцать километров бежал на лыжах.

— Не приведи господь, на волков нарвешься али рысь наскочит! Ну, куда ты в темень эдакую, голова бесшабашная, пускаешься? — ахала Ефросинья Дмитриевна.

Но Василию Кирилловичу очень нравилась храбрость мальчика, и он поощрительно бубнил, успокаивая Фросю:

— Волков тут не слышно. А пробежаться — эка невидаль. Не бог весть, какой путь. Чего тут! Валяй, валяй, Алешка, нажимай!

Алеша надевал через голову на спину заряженную

нолевкой двустволку, с которой не расставался с того времени, как убил из нее беляка и дедушка разрешил ему с ней ходить.

— Я, бабушка, с ружьем ничего не боюсь,— утешал ее Алеша и, напутствуемый приказаниями никуда с дороги не сворачивать, ни на какой след не обращать внимания, скользил по наезженной лыжне за ворота.

## 9

Еще лежал глубокий снег и без лыж невозможно было сунуться в лес, еще держались морозные зори и нет-нет да засыпал дорогу вихревым наметом злой поземок, но уже по-другому суетились воробьи, нахохливались скромные, серенькие самочки-снегири и певуче посвистывали им самцы, выпячивая акварельно-розовые грудки. В дневном угреве солнца, в темнеющих венчиках вокруг стволов, в грязноватом отливе осевшего снега и в суматошной галочьей возне чувствовалось приближение весны.

Алеша за зиму заметно подрос и окреп. Было у него в лесу свое укромное местечко, откуда по выходным дням с утра до вечера с пытливым упорством исследователя наблюдал он жизнь природы. Под вековой елью, где нижняя широченная лапа, грузно придавленная снегом, изогнулась до земли, образовав уютный шатер из хвои и снега, Алексей просиживал часами. Было так интересно наблюдать, что происходило на ближайших деревьях и на снегу, что сплошь да рядом он вспоминал о доме, когда предвечерняя сумеречная мгла уже прятала от глаз стройные сосны и густые ели.

Из своего шатра, незаметный для птиц и зверей, он

наблюдал за их таинственной веселой и жестокой жизнью. Он видел, как золотистая ласка, неслышно карабкаясь по стволу, подкрадывается к труженику дятлу; видел, как белка грациозно держит двумя лапками шишку и, юрко вертя головкой, ловко ее шелушит; видел, как стайка снегирей, взметывая с ветвей снег, затевает веселую брачную суету.

Однажды рядом с шатром на голый обломанный сук сосны уселся глухарь. Гордо подняв голову с изогнутым клювом, он застыл как изваяние. Вдруг послышался ломкий хруст. Глухарь сторожко огляделся и, шевельнув крыльями, пружинно опустился на твердые лапы, готовясь к взлету. Минуту он напряженно слушал, то наклоняя, то поворачивая голову, затем, сильно оттолкнувшись, сорвался вниз и, шумно хлопая крыльями, полетел между стволами — с соседних ветвей посыпался снежный порошок. В тот же миг из-за ствола показалась хищная мордочка куницы.

Алешины наблюдения заинтересовали всех. Василий Кириллович посоветовал и другим ребятам заняться тем же.

— Чего сам своим глазом увидишь — лучше всяких описаний в книге запомнится, — вразумлял он.

Вскоре в обходе Василия Кирилловича создались восемнадцать постов наблюдения. На постах устроили скамеечки с крошечными столиками. Поблизости приладили кормушки, у которых целый день шла суета и драка.

Вечерами, после ужина, ребята читали вслух свои записи. Как-то, слушая их, Сергей предложил послать дневники ребят с пояснениями Григория Ефимовича в академию.

А между тем наступила пора влажных, мягких ветров.

Снег стал грязно-пористый. В глубоких просовах на дорогах скапливалась ржавая вода. Вокруг стволов в венчиках показалась летошняя трава. С карнизов, сочно булькая, падала веселая капель. Лес шумел, гудел неумолчным весенним гудом, а над ним торопились рваные, кудлатые облака. Воробьи неугомонно справляли свои свадьбы. Кричали галки. Не сегодня-завтра ожидали грачей. Снегири готовились к отлету. Солнце, вырываясь из-за туч, так ослепительно сияло, что все сверкало и играло в его пронизывающем свете.

Юннаты встречали прилетных птиц: строили кормушки, прилаживали к шестам и деревьям скворечники, очищали площадки для отдыха. Старшие затемно отправлялись на тока, терпеливо, до солнца наблюдали ярые поединки косачей.

Стрелять дед запрещал.

— Смотри, слушай, учишь скрадовать, а бить не смей. Придет время — набьем сколько требуется, а теперь нельзя! Узнаю, коли кто убил — в лес не пущу,— сурово предупреждал он.

Не смея ослушаться деда, никто даже не брал с собой на сидку ружья.

Тетради и дневники юннатов все больше и чаще заполнялись интересными наблюдениями за весенним пробуждением природы.

Василий Кириллович прекрасно знал все тетеревиные и глухариные тока, но только теперь с помощью юннатов, по их записям, и ему стало точно известно, сколько на каждом току собирается чернышей и тетерок, куда улетают они спариваться, где откладывают яйца.

— Как в магазине — весь товар налицо,— не без гордости рассказывал он Аркадию Георгиевичу.— Полную

бухгалтерию ребята завели. Каждая дичина у них на учете.

Днем, в затишье, становилось так тепло, что Василий Кириллович распахивал полушубок и, откидывая на затылок шапку, подставлял солнцу обнаженный лоб и волосы. Однажды, в такой-то вот талый день, ремонтировал он на дворе старые ульи и поглядывал на мальчишескую возню Ласки с лосенком. Гонясь друг за другом, они потешно подпрыгивали, падали, ложились на спину — Ласка вертелась волчком, живой бронзой лоснилась ее шелковистая псовина, а лосенок по-телячьи отталкивался всеми четырьмя копытцами и вихрем мчался за юркой собакой.

— Ребятишки, как есть ребятишки,— смеялась на крыльце Ефросинья Дмитриевна.

Вдруг два дуплета отчетливо врезались в тишину утра.

Василий Кириллович вонзил в чурбак топор, повернулся к лесу в выжидательной, настороженной позе.

Через полчаса, запыхавшись от быстрого бега, тяжело, прерывисто дыша, прибежали Алеша и высокая, краснощекая Катя. Волнуясь, перебивая друг друга, они рассказали, что у самого их поста, где они наблюдали кладку яиц матерки, какие-то двое с собакой убили старку прямо на гнезде.

Дед даже побледнел от возмущения. На ходу вкладывая в стволы заряженные бекасинником патроны, он зашагал так крупно, что ребята вприпрыжку насилу поспевали за ним. Он вел ребят прямо через лес к краю озера. По дороге к ним примкнули еще пятеро юннатов. Возле опушки они увидели голубой дымок над кустами.

— Чаевичают,— прогудел дед.— Тихо. Чтоб ни божь мой. Не дыхни.— Василий Кириллович поднял предо-

стерегающе палец и, прячась за кусты, двинулся к костру.

Двое дневали у огонька. На сучках сосны висели стволами вниз бескурковки и связанные за лапы утки с тетеркой. На расстеленной бобриковой тужурке полулежал человек в очках, с каким-то значком на борту пиджака и, самодовольно ухмыляясь, рассказывал:

— Я ей подняться не дал — срезал на гнезде!

— Яйца болотцем чуть отдают, а ничего,— отколу-пывая скорлупу, вставил второй, широколицый, курносый малый в ватной стеганке, опоясанной патронташем.

Чокнулись, выпили, закусили.

Юннаты с дедом, ни единым звуком не выдавая своего присутствия, безмолвно наблюдали за ними.

«Научились скрадывать!» — с удовлетворением подумал Василий Кириллович и, отстранив рукой куст, шагнул к охотникам.

— Здорово!

Оба вскочили, испуганные неожиданным появлением могучего старика с детишками.

— Откуда и кто вы? — пришел наконец в себя охотник в очках.

— Алеша, подай-ка,— не отвечая ему, кивнул Василий Кириллович на связку дичи.

Алеша потянулся было к суку, но малый бросился к нему и замахнулся кулаком:

— Не трожь, щенок!

Дед с молодой ловкостью поймал в воздухе руку парня и, дернув к себе, прогудел:

— Изуродую, стерва!

Малый побледнел и, по-дурацки широко распылив рот, уставился на старика.

— Я директор Яновского лесозавода,— начальнически выкрикнул охотник в очках.

Василий Кириллович, не слушая его, снял с сука убитую дичь, передал ее Алеше и, обжигая директора ненавидящими глазами, презрительно пробасил:

— Не директор ты, а сукин сын, душегубец! Ай вам в башку не стукнуло, что вы матерей поубивали, а выводки их целиком, подчистую порешили, молодняк уничтожили? Да еще яйца утиные,— ткнул он пальцем в скорлупу,— пожрали. Вот что, директор,— грозно выпрямился Василий Кириллович,— запомни: встречу в лесу с ружьем — изувечу, ружья перелломаю!..— И повернулся к юннатам: — Патроны отобрать все до одного!

— За самоуправство ответишь! — вскипел директор.

Не обращая на него внимания, Василий Кириллович снял с дерева оба ружья, вынул из них патроны, протянул было руку, чтобы снова повесить на сук, но раздумал и передал Кате.

— Да кто тебе дал право командовать? Повесь ружья! — окончательно вышел из себя директор.— Вовка, ты что чучелом уставился? — накинулся он на курносого.

Но тот продолжал обалдело глядеть на старика.

— Эх, ты! — оглядел старшего с ног до головы Василий Кириллович.— А еще директор! Нет в тебе никакого человеческого понятия! Ружья ты получишь, ежели отдадут, в химкомбинате.

— В химкомбинате? Тогда ты будешь иметь дело с директором комбината Сергеем Васильевичем Боруновым. Если ты у него на службе — попросу наказать тебя!

— Попроси, попроси,— издевательски прогудел Василий Кириллович. И, отвернувшись от них, пошел прочь.

Этот случай надолго вывел из душевного равновесия



Василия Кирилловича и Григория Ефимовича. На совещании юннатов, устроенном по этому поводу, после шумных, горячих разговоров, по предложению Аркадия Георгиевича, решили на всех дорогах вывесить объявления, предупреждающие о том, что здесь находится опытный натуралистский участок, вход в который запрещен посторонним, а за самовольную охоту, собирание грибов и ягод виновные будут привлекаться к ответственности.

— По закону, конечно, ни к какой ответственности никого мы привлекать не можем и запрещать охотиться и собирать грибы тоже не имеем права, но, глядишь, все же будут остерегаться и побаиваться ходить сюда,— хитро ухмыляясь, пояснил Аркадий Георгиевич.

Сергей сам съездил в Яновку к поселковому начальству с просьбой запретить охоту в обходе Борунова. Вскоре юннаты спокойно занимались в лесу своим делом, не опасаясь неожиданных встреч.

Однажды в голубой погожий день, когда похудевшие, но стройные и важные грачи солидно ковырялись на дороге в отталом навозе, подбирая разбросанные для них юннатами кусочки ржаного хлеба, в ворота въехали низкие ковровые саночки, запряженные гнедым директорским красавцем, на котором в распутицу без кучера ездил сам Сергей.

Рядом с Сергеем сидел закутанный в доху старичок. Из-за высокого мехового воротника торчал клинышек аккуратной седенькой бородки и выпуклые очки в золотой оправе.

— Юрий Владимирович Геер, академик, биолог. Знакомьтесь,— представил его Сергей отцу и учителю.— Заинтересовался вашими лесными делами.

Юрий Владимирович оказался подвижным, общитель-

ным человеком. Между ним и ребятами быстро установились хорошие отношения. Голосок у академика был тоненький, с хрипотцой, речь не быстрая, понятная, а смех высокий, закатыстый до слез.

Весь день все вместе бродили по лесу. Юннаты с тетрадами в руках показывали ученому всех обитателей своего уголка, рассказывали, где кто водится, как живет, с кем дружит или ссорится. Григорий Ефимович рассказал, как старый лесник помог ребятам узнать жизнь леса. Ученый с интересом слушал, много расспрашивал.

Через месяц после отъезда Юрия Владимировича, когда лес зазвенел птичьей разноголосицей, а снегири улетели к холоду, к снегам, на север, по общему согласию решили выпустить снегирей из живого уголка.

— Летом им жить у нас непривычно: это снежная, морозная птичка. Она захиреет в жару,— говорил Григорий Ефимович.

Было немного грустно наблюдать, как выпущенные на волю краснозобые птички недоуменно уселись на забор, попытались было снова вернуться домой, но, наткнувшись на закрытое окно, покружились над крышей, словно прощаясь, и, взмыв, растворились в синей дали.

— Они изнежились, ослабли в комнате, без тренировки не долетят, погибнут,— воскликнула Леночка.

— Не бойся, долетят. Не так-то трудно перелететь, как думается. Чаше будут отдыхать — только и всего! Корм теперь всюду найдется. А к зиме опять сюда вернутся — не горюй! — успокоил ее дед.

Близилась экзамены. Старшеклассники наезжали в сторожку только для дежурства в вольере и живом уголке. Один Алеша по-прежнему все свободное от школы время проводил в лесу.

— Не провалюсь,— заверял он стариков.— Сдам не хуже других. Я здесь лучше все запоминаю. Прочту и помню, а дома все из головы вылетает.

По воскресеньям он проводил зарю на току. Прятался в густом кусте и наблюдал, как черныши дерутся, а серенькие скромные тетерочки сидят в сторонке, на опушке, ожидая своего суженого.

Алеше казалось, что он начал различать чернышей друг от друга. У каждого ему виделась свои особенности. Вот та пара сразу начинала драться. Пригнувшись и вытянув шею, бормоча и топчась друг перед другом, спустив иссиня-черный, с белой отделкой изогнутый лирой хвост, они зорко следили друг за другом и, улучив момент, воинственно чужакали, подсакивая, как петухи, били сильными лапами в атласную грудь. Вот этот молодой чернышок ярился в одиночестве, крадучись, трусливо подбираясь к тетерке. А та вот крупная птица — хозяйин игрищ, старый токовик. Он первым прилетает задолго до рассвета, шустро обегает все токовище, потом издает призывный крик и сидит в стороне, оберегая свадебную игру собратьев. Одного черныша Алеша заметил по утерянному, очевидно в драке, маховому перу в правом крыле. Он первым улетал на спаривание с самкой, и его отлет как бы служил сигналом: вслед за ним, один за другим, покидали ток и остальные косачи. Последним улетал, когда солнце начинало чуть пригревать, старый токовик.

Охотился Алексей далеко от своего тока, в противоположной стороне, на другом краю болота. Следуя строгому приказанию деда, убив два черныша, он возвращался в сторожку. Ефросинья Дмитриевна одного оставляла себе, другого наказывала передать матери.

Стрельба для Алеши уже не была диковинкой и ружье не волновало, как в первые дни обладания им. Он набивал себе патроны, сам строил шалаши на токах, нашивал ногавки подсадным уткам, сажал на круг, подманивал в кулак чирков и не боялся в любую погоду остаться на разливе и в лесу. Но охота на глухарином току долго оставалась для него непостижимым искусством.

На глухаря выходил до рассвета, в тот предзоревый, весенний час, когда особенно густеет темнота. Шел, страстно мечтая услышать дремучую песню, подойти вплотную, убить и вернуться с желанным трофеем. Но каждый раз охоту портила какая-нибудь непредвиденная случайность и глухарь невредимым покидал ток. То обманывал слух, и он принимал за глухариную песню посторонний звук — поскрипывание дерева или трение друг о друга сучков. То, оступившись в темноте, с шумом падал, и напуганный глухарь или улетал, или переставал петь. Однажды, так и не сумев разглядеть глухаря, певшего в густой вершине сосны высоко над головой, он выстрелил по мохнатой ветке, приняв ее в темноте за токовика.

Алеша возвратился на кордон, огорченный до слез. Молча разделся, вычистил ружье и признался деду:

— Никудышный я глухарятник. Снова подшумел.

— И что ты, Алешенька,— утешала Ефросинья Дмитриевна.— Глухарь — птица мудреная, она мальцу не дастся. А тебе, голубок, только-только четырнадцать исполнилось.

— Я, брат, первого глухаря убил на третью весну. Все, бывало, как ты, всякий скрип за песню принимал. Не то на валежину наступишь, она под ногой треснет, как

выстрелит — и прощай, глухарь! Это, милоч, не сразу дается, — говорил Василий Кириллович. — Экзамены сдашь — подведу к глухарю, стрелять будешь.

Сколько же было восторга, когда первый глухарь тяжело шлепнулся к ногам Алексея.

— Дедушка, убил! — прерывистым, хриплым от волнения голосом вскрикнул Алеша, поднимая за шею тяжелого, не успевшего сложить крылья красавца.

— Ах ты добытчик! Ну, ин быть тебе полесовщиком. С полем, милуша! С полем, Алешенька! Это мы теперь попросим Гришеньку чучело с него набить в память твоему первому глухарю, — искренне радовалась успеху Алеши Ефросинья Дмитриевна.

И второй раз подвел Василий Кириллович Алексея к глухарю, но к третьему, как только донеслась до них песнь, велел подходить одному: молча указал рукой направление и прошептал:

— Иди сам!

Алеша пошел в темноту, не видя, а скорее чувствуя еле засветлевшее перед зарей на востоке небо. Волнение мешало как следует разбирать песню, и он шел, еле переступая ногами. Вдруг щелканье птицы стало доноситься отчетливее, оно как бы заслонило все остальные звуки — и тут сразу исчез шум в ушах, перестало колотиться сердце.

Чёк, чёк, чёк!.. — мерно, отчетливо щелкал глухарь.

Но вот он умолк. Алеша замер. Глухарь опять зачастил и, уже не умолкая, сразу, без перехода, зажикал, заскиркал: он был где-то рядом, на смутно темневших вокруг корявых сосенках.

Алеша глубоко передохнул, сделал еще шагов десять под песню и, прислонившись к дереву, решил ждать

восхода. Глухарь пел чуть не над головой. Но, как Алексей ни напрягал зрения, он ничего не различал, кроме темных силуэтов деревьев. Взвел курки, опустился на колени в мшистую, мягкую кочку. Минута казалась вечностью. Но Алеша твердо решил не поднимать головы до тех пор, пока не развиднеется.

Наконец стало светать: вот на общем смутном фоне завиднелись тонкие стволы сосен: по вершинам разлились отсветы неба, успевшего незаметно сделаться прозрачным и блекло-голубым. И в посветлевшей, зеленовато-серой хвое Алексей сразу увидел темный силуэт глухаря. Напряженно вытянув вверх шею, с чуть оттопыренными крыльями, он сидел неподвижно, и из горла его торопливо вылетали частые звуки — тихие и непонятные, не похожие ни на какие другие живые голоса в природе.

Тут ружье само вскинулось к плечу и щека плотно прижалась к ложу. Алексей забыл наставления деда о стрельбе под песню, торопливо прицелился и выстрелил. Глухарь, не шелохнувшись, тут же камнем свалился с сука и упал к ногам охотника.

Алеша рванулся к нему и поднял тяжелую птицу.

Возвращаясь к Василию Кирилловичу и вновь переживая мельчайшие подробности охоты, Алеша задышался от бурных, обжигающих воспоминаний. Но, завидев сидящего на пне деда, степенно укоротил шаг, подошел вразвалку, молча бросил на мох глухаря, словно добыть его было для него обыденным, привычным делом. Так, по его понятиям, должен был вести себя настоящий глухарятник.

Василий Кириллович, пряча хитрую улыбку в усах, прогудел, поглаживая бороду:

— Порядок. С полем. Пошли.

Но через несколько шагов, не выдержав, Алеша мальчишески хвастливо выкрикнул:

— Как я его лупанул!

— Молодец! — подхватил дед.— Только бить надо спокойно, а ты, гляди-кась, аж побледнел.

— Дедушка, я так волновался, так волновался!..— доверительно признался Алеша.

— Да ты и сейчас волнуешься,— усмехнулся дед и легонько за плечи обнял его.— Ничего, Алексей, обвыкнешь. А я только по третьему году первого свалил.

Василий Кириллович разрешил Алеше еще два раза сходить на ток. И каждый раз, неслышно уходя ночью, он с восходом солнца возвращался с глухарем.

— Ну и будя,— подытожил Василий Кириллович.— Боле нам не требуется. Пять глухарей ты убил, двух я, шесть Серега — хватит. Теперь пущай живут.

Скрепя сердце Алеша подчинился этому решению. Так в охотничьих горестях и радостях незаметно, день за днем, уходила шумная весна. Прогремели первые грозы. Умытые деревья сверкали переливными брызгами, одуряюще пахла молодая, свежая листва.

## 10

В один из ласковых длинных вечеров в преддверии лета к родителям приехал Сергей. Долго сидели они на крыльце, тихонько переговариваясь. А ночь все не наступала, и где-то никак не могла угомониться какая-то птичка. Когда же спохватились, оказалось, что близко утро. Василий Кириллович предложил сыну пойти в лес.

— Выходной, спешить некуда, айда! А мать тут покедова печку истопит, пирогов напечет.

— С удовольствием, отец. Все равно уснуть невозможно,— охотно согласился Сергей.

Пока переоделись да помогли матери убрать скотину, натаскать воды, дров, придвинулся восход. Когда вошли в лес, первый проснувшийся щегол щелкнул и гортанно проскрипел. Вслед за ним музыкально подсвистнул, протянул, словно пробуя спросонья голос, высокую ноту дрозд, потом чёркнул, щелкнул соловьем, разбудил малиновку, и она радостно залилась над головой. Лес сразу зазвенел, задрожал переливчатыми, чистыми, ликующими голосами. Над горизонтом показалось огненное солнце, золотом заиграли кроны сосен. Далеко за лесом над болотом нежно и печально перекликались кроншнепы.

Березы уже раскудрявились, шелковистой сочностью покрыла землю молодая трава, и такой вкусный, живительный аромат источала в лесу земля, что силой, бодростью, радостью заполнялось человеческое существо.

— Ученые пишут — миллионы миллионов лет кормилица наша земля стоит... Сколько весен она перевидала! Стара она — старей некуда! А вот молодеет каждый год. И никакие годы не берут.

На озере — царство света, ослепительного, пронизывающего сверкания и страстных призывов самцов.

Неслышно выскользнув из осоки, легко морща голубеющую гладь, подплыли к островку, зачалили за ивовый с серебристыми сережками гибкий кусток и опустились на положенные поперек челна весла.

Из-за камыша проплыла пара чирят. Серая утка деловито вела за собой селезенка. Темный хохолочек гор-



до торчал на его точеной головке. Из заросли кустов просунулась лосиха. Втянула воздух, всхрапнула и, покоровьи наклонясь, начала медленно с наслаждением пить; голенастый горбоносый лосенок тоже вошел в воду, продолжая нетерпеливо тыкаться мордой ей в пах. Зверь настороженно поднял морду. На огромной высоте носились бекасы, то забираясь к самому солнцу с мерным тэканьем, то камнем бросаясь вниз, так что, как на ветру, гудели распущенные перья.

Пристально из-под бровей оглядел старый лесник озеро — все, до каждой былинки было знакомо и все волновало, будто впервые видимое. Василий Кириллович снял шапку, провел заскоруждой ладонью по белым волосам. Издалека долетел разливисто певучий голос:

— Ася-ааа!..

Василий Кириллович прислушался, лицо озарилось улыбкой.

— Мать зовет!.. Бывало, бродишь в лесу, а сам ждешь, когда вот так-то покличет!.. Кабы не мать, Сергей...

И, не договорив, поднялся, колыхнул челн.

— Дедушка-ааа!..

— Леночка приехала, — сказал Сергей.

— Придется с детворой до конца в лесу жизнь доживать! — отвечая своим мыслям, подытожил свои думы Василий Кириллович.

Солнце пронизывало теплом и светом весеннюю поросль. Какой-то неугомонный черныш одиноко бормотал и сердито чуждался.

— Запоздал, — заметил Василий Кириллович. — По-ди, уж все тетерки разобраны!

На сердце было легко и празднично.



# **В**оспоминания **ОХОТНИКА**

**Р а с с к а з**

# 1

Отец признавал охоту только на волков с поросятами и на медведя с рогатиной. Обо всяких иных отзывался презрительно:

— Детская забава!

Человек он был суровый, властный — мы боялись и любили его.

Почему из четырех братьев выбор пал на меня — не знаю, но распоряжение последовало, как всегда категорическое:

— Спать не ложись — поедешь с нами!

И вот поздний вечер. На мне поддевка, меховая с наушниками шапка, ватные рукавички, шерстяные, бабушкиной вязки, толстые чулки, подшитые негнущиеся валенки. Я в санях на сене рядом с отцом и хрюкающим в мешке поросенком.

— Трогай!

Федор шевелит вожжами, Стрелка вздрагивает, хрустко переступает коваными копытами, Ласка натягивает постромки и... ворота позади.

Было морозно, звездно-сине и призрачно-лунно.

Привычная к волчьей охоте, слаженная пара неторопливо, легко катит розвальни на широких без подрезов полозьях.

В поле Федор «малость погрел голубков», натянул вожжи, озорно выкрикнул:

— Зале-о-отные!

Стрелка рванула голову к дуге, Ласка изогнулась, распласталась — по щекам захлестал колючий ветер, из-под копыт Стрелки полетели комья, а Ласка, вздыбливая обочину дороги, заметелила порошистым снегом.

Выбрасывая далеко передние ноги, Стрелка мчит, рассекая могучей грудью упругий, студеный воздух, — пляшет шлея на заиндевелом крупе, трепыхает грива у конца оглобли, а Ласка, словно боясь отстать от подруги, летит, стелется низко к снегу, опустив голову на выгнутой по-лебяжьей шее.

Отец стоит на коленях, обжигая ветром лицо, прикрывая рукавом глаза от лошадиных швырков, улыбается, показывая крепкие, белые зубы.

Федор опускает вожжи:

— Чш-шш!.. Вихревые!

Стрелка переводит бег на шаг, отфыркивается, глубоко вздыхает, выпуская из ноздрей, опущенных инеем, сильные дымчатые струи, и косится на Ласку, будто спрашивая: «Ну как?»

Ласка женственно-доверчиво жметя к оглобле, кивает сухой головкой и, ослабив постромки, похрапывает, кокетливо перебирая точеными ножками.

— Цены нет кобылкам, Михаил Александрович! — восторгается Федор, обращая к нам нахлёстанное жгучим морозом простодушное, толстоносое лицо.

Именно таким на всю жизнь остался в памяти первый выезд на волчью охоту.

В те далекие времена моего детства в лесах Смоленщины на гон, на гульбище, стекались огромные стаи волков.

Надо было обладать немалым мужеством, чтобы морозной ночью, при луне, на паре приученных, вышколенных рысаков, заложенных в розвальни, вдвоем с кучером выезжать на поединок.

Детское воображение рисовало встречу с волками, как в «Красной шапочке»: огненные глаза, свирепые клыки, кровавой язык, алчная пасть. Я жался к ногам отца, прятал лицо в меховую его тужурку — мне было одиннадцать лет.

Но то, что произошло в действительности, оказалось столь страшным, что никакая пылкая фантазия одиннадцатилетнего мальчонки не могла предвосхитить.

Въехали в лес. Отец выбросил на дорогу мешок с соломой — длинная веревка тащила его за санями.

Лошади шли шагом, сторожко поводя ушами. Жестко скрипел снег под коваными копытами, тонко подпевали полозья, отчаянно надрывался в санях поросенок. Пронизанный жалостью к нему, я было спросил, зачем его мучают, но отец приказал мне лечь и молчать.

Он повернулся спиной к Федору, удобнее примял коленями сено, пристально взгляделся в лунные лесные потемки и неторопливо начал заряжать лежащие вправо от него три дуствольных ружья.

Федор намотал вожжи — от коренника и пристяжки — на левую руку и почему-то шепотом спросил:

— Тронуть?

Отец, не оборачиваясь, кивнул. Федор шевельнул рукой, и Стрелка с Лаской побежали некрупной рысцой.

Я лежал животом на сене, смотрел на кувыркающийся мешок, на атласный лоск накатанной колеи, и мне безотчетно становилось жутко.

— Стой!

Лошади сразу стали. Поросенок умолк. На минуту стало тихо-тихо. Колко хлопнуло дерево, что-то гукнуло в таинственной гуще леса — в блеклом небе стыла холодная, безразличная луна. Лошади, тревожно всхрапывая, прядали ушами, нетерпеливо перебирая на месте сильными ногами.

— Стоять! — угрожающе прохрипел Федор и потянулся за ружьем.

В тот же миг обочь дороги скользнули живые тени.

— Шевельни, — шепнул отец, поднимая ружье.

Лошади зачестили, порываясь вскачь, но едва прошли с полсотни шагов, Федор резко осадил их, и я увидел, как две темные тени метнулись к мешку и началось что-то невообразимое: грохот выстрелов, храп, рычание, визг, вой...

Федор сдерживал намотанными на руку вожжами лошадей и, непрерывно заряжая ружья, передавал их отцу.

Сколько времени продолжалась пальба — не знаю: я был почти без памяти.

Помню только, как отец швырнул далеко на дорогу поросенка, как оборвался на незаконченной высокой ноте визг, как ударили раз за разом четыре выстрела, как отец крикнул не своим, ошалелым голосом:

— Поше-о-ол!..

Гикнул Федор, рванули кони — со свистом полетели

комья через головы, застучали розвальни на раскатах о набитые края дороги.

Я пришел в себя, когда лошади, все в пару и мыле, уже спокойно, ровно шагали. В нервном ознобе, лязгая зубами, я судорожно хватал рукавицами заиндевелую отцовскую тужурку.

Отец с грубоватой лаской несильно прижимал к себе и ворчливо, несердито поругивал:

— Экий ты трусишка. Ну, перестань щелкать зубами. Стрелки постыдись. Посмотри — Ласка смеется. Вот так волчатник.

Федор добро смеялся, дружески хлопал по плечу:

— Во, Николаха, жисть с волками какая! Испужался? Ну, не беда. Это сперворазу. В страсть войдешь — и вся пужливость пройдет. Я сам наперво чуть, прости господи, не преставился.— И, весь в недавно пережитом волнении, возбужденно-радостно восклицал: — Ах вы, голуби мои, волчатники! Сколько коней ни наезживал на волков, а таких не знавал!

Неостывшие лошади, очевидно тоже довольные, споро шагали, пофыркивая, похрапывая, встряхивая гривами. Под шлеей еще мылилась пена, от паха еще исходила испарина, но на крупах уже курчавился иней — успокаивающе знакомо отдавало потом и дегтем.

Дома отец рассказывал, что, когда стая скопом бросилась на первого убитого волка, «Николка заверещал на самой пронзительной поросячьей ноте и не умолкал до конца охоты».

Позже мне приходилось много охотиться разными способами на волков, но переживаний, подобных первому выезду, никогда больше не испытывал.

Летом отец подарил мне легонькую двадцатку. С тех

пор у меня пропал всякий интерес к волкам. Куда было увлекательнее бродить по болотам, подкрадываться по пояс в воде к чирку или ловчиться попасть в улетающую птицу.

Бывало, от зари до зари с толпой деревенских приятелей охотились на дергачей, бекасов, болотных курочек, ястребов. Гордо проносили мимо улыбающихся взрослых драгоценное ружье и на веревочке привязанные за шейки трофеи. До волков ли тут: возвращались, переполненные событиями дня, засыпали с мыслями о завтрашнем походе.

Мне часто вспоминается та пора. Сквозь дымку ушедших лет она представляется безмятежно-радостной, поэтично-светлой. И, думается, что именно те далекие детские дни с милой первой двадцаткой по-настоящему навсегда зачаровали, отравили меня сладостной отравой охоты.

Более полувека прошло с тех времен, а все рисуется так ярко, так осязаемо близко, как будто оно происходило вчера, как будто ты по-прежнему молод, силен, неутомимо предприимчив.

Увы, побелела голова, мучает одышка, огрузнела поступь, тяжелеет в руке ружье, исчезает зоркость, и все чаще и чаще после выстрела невредимой улетает дичь. Но в сердце продолжает жить былая охотничья нестареющая удаль. И как только близится время к охоте, она вновь оживляет, молодит, вливает в жилы горячую кровь, наполняет бодростью, молодечеством, убивает старость и гонит вон из города — в лес, в болота, на волю, на родные просторы, к милой, вечно юной природе.

Так в охоте и прошла вся жизнь.



И сколько было всяких — веселых и грустных, страшных и курьезных — происшествий за долгие годы скитаний по лесам и болотам с собакой и ружьем, что не перечислить и не пересказать.

Об этом, да еще о встреченных на прихотливых охотничьих тропах людях, в большинстве таких же, как я, одержимых неостывающей любовью к родной природе, о моих собратях по досугам в лесу и на речке и пойдет речь.

## 2

Как-то раз, измученный трудной охотой по заболоченному кочкарнику, я выбрался к опушке березняка, где с радостью увидел шалашик, покрытый толстым слоем осоки и темными лапами ельника. Перед входом торчали рогульки для чайника и чернел круг гари от недавнего костра с неразметавшимся еще седым пеплом. Из шалаша вкусно тянуло прелью и прохладой земли.

Я стянул сапоги, разостлал тужурку, бросил к изголовью ягдташ и с наслаждением, испытывая истинное блаженство, растянулся. Собака распласталась у ног, и мы мгновенно уснули, так, как спят охотники, измотавшиеся за день по многокилометровому бездорожному пути.

Разбудили лай и хлесткая ругань.

Я осадил Джильду, вылез из шалаша и очутился перед длинным, худым человеком с узким лицом, покрытым рыжей щетиной. Из растегнутого ворота вылинялой рубахи торчала густая бурая курчавина. Ружье с веревкой, заменяющей погон, было приставлено прикладом к ноге, широкая ладонь упиралась в нечищенные, ржавые стволы. Рваные, с разноцветными заплатами

штаны, потрепанные, с задранными носками лапти, пиджак без пуговиц, опоясанный тесемкой, кожаный, из голенища старого сапога, собственноручного изделия патронташ, суконный, вконец изношенный, неопределенного цвета картуз с измятым, обвислым козырьком делали его своеобразно живописным в стиле дореволюционных российских охотников-крестьян.

Голос у него был хриплый, простуженный, но крикливый.

Не здороваясь, не интересуясь, кто я, как очутился здесь, в его шалаше, он набросился на меня с такой избрательной бранью, что Джильда, замолкнув, удивленно уставилась на него.

Так состоялось мое первое знакомство с Василием Андреевичем Журавлевым — знаменитым ловецким охотником и рыбаком, именуемым сельчанами просто Журавлем.

Позже несколько лет подряд я с удовольствием охотился вместе с Журавлем. Подсадные у него были замечательные, пролетной дичи видимо-невидимо, и набивали мы ее с ним очень много. Тут же в протоках ставили вентиря. Попадались крупная плотва, лещ, щука — в рыбе недостатка не было.

Бывало, зори просиживаешь с ружьем на разливе в шалаше, а ночи на бугре у трескучего костра за душистой ухой, ароматным, с дымком, чайком и бесконечными разговорами.

Мог ли я тогда, при первой нашей встрече предложить, что за этой нескладной, неряшливой, несуразной внешностью, за этим говором, пересыпанным вошедшей в привычку руганью, скрывается добрейшее существо с возвышенной душой поэта-мечтателя? Прислушает-

ся к чему-то, шепотом спросит: «Чуешь?» И, не дожидаясь ответа, скажет: «Поет!» — «Ты про что, Журавль?» — «Про что, про что? — рассердится Журавль, отвернется, плюнет и, помолчав, объяснит: — Разлив поет!»

Перед взором до горизонта блестит, переливается серебром окский разлив. Над сияющим его простором в голубизне свистит, звенит, перекликается дичь — действительно «поет» разлив.

Журавль сидит на носу челна в завехе, устроенной в торчащем из воды кусте. Перед ним его знаменитая кряковая Верка распласталась на кругу и от страстного призыва уже не кричит, а как-то хрипит, раскинув крылья, вытянув шею. Шагах в пятнадцати от нее хорохорится красавец селезень в атласном уборе, — то бок покажет, то грудь, то хвост, но ближе не подплывает, сторожко косясь на густо-зеленый, подозрительно темный на фоне светлой воды шалаш. Журавль тщательно выцеливает и опускает ружье. По небритой его щеке ползет слеза.

— Экая красота! — снимает картуз, крутит головой, вздыхает. Селезень испуганно, шумно срывается, а утка, собрав крылья, поднявшись на ноги, оскорбленно орет ему вслед.

— Пуцай живет, — умильно хрипит Журавль, шмыгая покрасневшимся носом. — У-у-у, бесстыжая, — стыдит Верку.

Сидим у костра. Пыхтит, шипит над огнем котелок с варевом, на сучках березы покачиваются ружья.

Журавль слушает. Узкое, некрасивое его лицо расплывается в блаженную улыбку и становится детским, открытым, милым.

— Ты что?

— Чшшш,— выставляет он предостерегающе палец жмурит глаза и, словно боясь спугнуть, шепчет, указывая на ружья: — Играют...

Легкий ветерок шевелит листву и тихо посвистывает в стволах: «фьиии»...

Хозяин из него получился никудышный. И не потому что он ленился, не умел ничего делать или не любил крестьянствовать,— нет, причиной всему была необычная его доброта. Нашумит, накричит, изругает всего с ног до головы, а в заключение вздохнет и отдаст свое последнее.

— Да что ты, окаянный, делаешь! Разоритель непутевый! — набрасывается на него Марья, хлопотливая, не под стать ему, миловидная его жена.— Ирод! Парня-то пожалей. Все роздал, с чем сам-то остался?

Журавль смущенно шмыгает носом, гладит костляво лапищей белокурую головку семилетнего Кольки и виновато оправдывается:

— Вишь ты, Мань, какое тут дело: баба она одинокая, глупая, без коромысла ей ни в жисть бадейки не допереть. А я, вот те крест, новое такое коромысло смастрячу — ахнешь!

Оказалось, соседка-бобылка пришла со слезным горем: коромысло переломилось — не с чем за водой ходить. Журавль изругал ее, нашумел, напустил страху и не спросясь жены, отдал единственное в доме коромысло.

— Боже ж мой. Неужто мы с тобой, Маня, воду принести не осилим? — заключил он.

В колхоз он вступил, долго не раздумывая, одним из первых, и сразу так горячо уверовал в артельное ведение хозяйства, что каждому возражающему, за отсутст

вием доказательных слов, подносил к носу тяжелый, как кувалда, костлявый кулачище.

Его считали чудаком, но, побаиваясь, избегали волнующих острых споров о колхозе и коммуне.

Представление о счастливом будущем тоже было у него от непосредственной его доброты и простодушия.

— И вот, милый ты мой Михалыч,— щуря рыжеватые глаза, мечтал, бывало, Журавль.— Ни тебе раздора, ни бабьего визга. Все черед чередом, тихо, благородно — в полном для твоей души удовольствии. И тебе говядина, и тебе масло, и тебе пироги! Сапоги охотничьи на бычьем пузыре, восемнадцативершковые вытяжки. И чего хошь: хошь — галифе, хошь — гимнастерка, хошь — пиджак суконный али тужурка хромовая в пупырчиках. Ружье самое что ни на есть тысячное, бескурковое... А бабы. К примеру — моя Манька: бареточки на каблучках, лаковые носочки, кофточка, юбочка — шелк. Идет, как осина на ветру шумит. И не токмо, что там: «Окаянный, рыжий дьявол!», а «Васенька, Василий Андреевич! Товарищ Журавлев, не желательно ли вам, к примеру, кохфею али, может, пропустить лафитничек для аппетита?» Обходительно, деликатно!..

Журавль плотно смежает веки, крутит кудлатой головой, длинно восторженно ругается.

Я не мешаю ему фантазировать. В те дни каждый по своему мечтал о коммунизме. Слушаю, улыбаюсь, молчу.

Ночь теплая, потрескивает костер, летят и тают в темени искры. Возбужденный мечтами, Журавль до зари рисует вслух сладостные, одна другой заманчивее, картины своей счастливой грядущей жизни.

Как-то зимой, возвращаясь от приятеля под хмель-

ком через реку, Журавль угодил в прорубь, простудился, заболел.

Приезжаю в Ловцы гонять русаков, захожу к нему и застаю такую картину. Лежит Журавль на деревянной кровати под лоскутным ватным одеялом, больше, чем всегда, заросший рыжей щетиной. Перед кроватью на коленях стоит Марья, обнимает тонкой рукой длинную, жилистую его шею и воет.

Журавль, тяжело вздыхая, хриплым, дрожащим от волнения голосом утешает ее:

— Ничаво, Мань, ничаво. Не убивайся. Я вот, бог даст, помру—ты внове замуж выйдешь. Мужика возьмешь себе в дом молодого, покрасивше мово, путевого — не то, что я. Дом у тебя справный, бабочка ты еще в аккурате, не токмо што какая там ни на есть...

И в припадке томительной муки заканчивает утешение совершенно фантастической, виртуозной руганью.

— Васенька, Вася-а...— стонет Марья.— Не терзай ты мою душеньку! Да нешто, господи, есть еще на свете люди, как ты? Юродивый ты мой! И не говори мне ни про кого, окромя себя...

Заметив меня, она поднялась, смахнула пыль с юбки, вытерла кончиками косынки глаза и спокойно проговорила:

— Дурак-то мой в прорубь ухнул. Пятый день представиться собирается!

— О, Михалыч,— бодро воскликнул Журавль, мгновенно отрешаясь от своей хвори,— Мань, дай-кась валенки!

И — будто только и ждал моего прихода — встал, разгреб пятерней рыжие космы, натянул штаны и направился за перегородку к умывальнику ополоснуть лицо.

Удивительная, трогательная пара были Марья с Василием. Вот и теперь, улыбаясь, смотрела она на него. Крестилась, и все в ней так выразительно, откровенно засветилось любовью, что я почувствовал себя лишним.

Но когда я уже было повернулся к выходу под предлогом навестить приятелей охотников, Журавль набросился на меня, по обыкновению, с потрясающей руганью, накричал на Марью, и та с тихим смехом поспешила за перегородку к самовару.

Много лет не видал я Журавля. И вот приезжаю в Ловцы, без труда нахожу его дом. Вхожу. Все по-старому. В горнице стоит немолодая женщина в черном вдовьем платке, с суровым лицом схимницы. Из-под платка видны поседевшие, будто в инее, туго скрученные в пучок волосы. Между бровей и от носа к углам губ — неизгладимые морщины.

— Вам ко...? Господи! Свят, свят. Михалыч!.. Жив?!..

Узнала, медленно, тяжело опустилась на стул, уронила голову на ладони, застонала...

Есть люди с незаживающими душевными ранами.

В первые дни войны Журавль ушел добровольцем на фронт. Его убили где-то под Смоленском.

### 3

После Октябрьской революции в Коломне появился новый учитель — Александр Павлович Ерастов.

Преподавал он в средней школе математику и на общеобразовательных курсах для взрослых, как сам говорил, «читал лекции по арифметике».

Его почему-то прозвали Чибисом. И так эта кличка пристала к нему, что никогда никто из охотников по-иному и не называл его. К прозвищу он привык, оно его не обижало, и он охотно откликался на него.

Нас, молодых охотников, Чибис пленял неутомимой своей охотничьей страстью, необычайной храбростью и таким увлекательным враньем о собственной жизни, что, бывало, сидишь зимой у костра, слушаешь его и не замечаешь ни холода, ни дыма, ни приближающегося вечера.

Когда я его узнал, мне было двадцать пять лет, а ему пятьдесят. Но все мальчишеские проделки, все охотничьи выдумки, нередко оканчивавшиеся большими неприятностями, исходили от него.

— Саша, ну Саша! — возмущалась его жена, тоже учительница, в противоположность супругу полная, породная женщина. — Ну, когда ты остепенишься? Ведь у тебя дети студенты!

— Все, Анечка, все! — покаянно заверял Александр Павлович. — Это последний непредвиденный случай. Больше ничего подобного не произойдет. Ничего!..

Но проходила неделя, другая — и опять какой-нибудь «непредвиденный случай» заставлял Анну Васильевну возмущаться.

Охота с Чибисом была истинным мучением, но всегда полна самых невероятных, неожиданных приключений. Сколько раз я давал себе слово никогда больше с Чибисом никуда не ездить и всякий раз уступал его настояниям.

— Николаша, не глупи, — уговаривал Чибис, закуривая тоненькую дешевую папироску, — ледоход нам не по мехам! Зато дичи, дичи там!.. Боже мой!..



И снова едешь, снова тонешь, снова чудом спасаешься от гибели.

Давно Чибис умер, но забыть его невозможно, как невозможно забыть первые юные радости, первый убойный выстрел, первую стойку своей первой собаки.

Ночь, темень, холодный весенний дождь, а мы едем по Рязанскому шоссе с Чибисом в Белоомут. В то время шоссе было булыжное, не как теперь — асфальтированное. Мы осторожно катим вдоль кювета краем дороги. Велосипедик у Чибиса дрянцовый. Все в нем дребезжит, скрипит. Раздрыганные звуки неумолчно дают знать о том, что Чибис не отстает. Фонарик стелет блеклый лучик на мокрую стежку. На спине рюкзак, через плечо ружье, за шиворот ползут противные, холодные капли, к колесам липнет грязь. Мысленно ругаю себя за то, что согласился ехать, клянусь погоду, Чибиса, дорогу, но терплю. Вдруг что-то звякает, стучает, шлепается, и в темноте раздается голос Чибиса:

— Развалился!

Кладу велосипед, спешу к нему и вижу: из кювета вылезает весь в грязи Чибис с колесом в руке.

— Не выдержала,— вытирая усы, констатирует он.

Оказывается, три года он ездил с треснутой вилкой, и, если бы, по его утверждению, не подвернулся на скользкой тропе руль, «она бы еще поработала».

— Я с этой треснутой вилкой всю Мещеру исколесил. Но ничто не вечно под луной,— философически заключает Чибис и, еще раз внимательно осмотрев колесо, швыряет его в кювет.— Черт с ним, поехали!

И ведь поехали! Рюкзак я надел на плечи, свой он привязал к багажнику, а сам устроился на раме. Так и ехали вдвоем на моем велосипеде — он правил, а я дер-

жался за его костлявые, но крепкие плечи и что есть силы нажимал на педали. Качали всю ночь. Чибис чувствовал себя превосходно и, закатываясь смехом, рассказывал про «аналогичный случай», происшедший с ним тридцать лет тому назад в Томске, в бытность его студентом учительской семинарии.

— Я тогда еще только ухаживал за Анечкой. Одолжил у приятеля велосипед и предложил ей покататься. Надо тебе сказать, что и в том возрасте габариты у Анечки были далеко не велосипедные! Ну-с, кое-как втиснулась между рулем и седлом на раму, кое-как с трудом вскочил я на седло, но из-за платья и болтающихся ее ног никак не мог поймать педаль. Дорожка шла под уклон к набережной и далее круто к реке. Анечка плотно заняла все пространство на раме, и я буквально не в состоянии был шевельнуть рулем. Между тем велосипед уже набрал большую скорость. Зрелище получилось великолепное. Цирковой аттракцион! Вслед нам раздаются веселые возгласы, за нами с визгом мчатся ребятишки, а мы, растопырив ноги, неудержимо катим в воду. Упали не больно, но живописно. Анечка, вытянув руки, перелетела через руль и мощно плюхнулась плашмя, вздымая фонтаны брызг, я же, словно выброшенный катапультой, описав в воздухе траекторию, навалился сверху на нее. И тут, под аплодисменты гуляющих, мне пришлось впервые обнять Анечку. Надо тебе сказать, что этот трагический случай ускорил нашу свадьбу.

Я знаю, что Чибис врет, что ничего похожего с ним никогда не происходило, но мне так ясно рисуется дородная Анна Васильевна с щупленьким, подпрыгивающим на седле Чибисом, что я смеюсь во весь голос, забыв про мучительную, бесконечную дорогу. К рассвету

добираемся до Оки. По ней быстро плывут льдины, дымчатой полоской далеко-далеко синееет лес, а на берегу копошатся местные жители — вылавливают баграми дрова. На холме высится с развевающимся на шпиге флагом, весь в затейливой резьбе, домик — спасательная станция. Бывший моряк — Сашка-спасатель — категорически отказывается перевезти нас на ту сторону.

— Жизнь, Александр Павлович, дороже твоей охоты,— заявляет он.

Но Чибис иного мнения о цене охоты. Махнув рукой, он отправляется искать лодку. А я до того измучился ночной ездой, что как слез с велосипеда, так и свалился на сырую, отталую землю и, сбросив рюкзак, мгновенно впал в полусонное, дремное состояние.

Часа через два вернулся Чибис на добытой где-то плоскодонке.

— Потонете, дьяволы! — надрывался Сашка-спасатель.— Первой же льдиной перевернет вас!..

До смерти не забуду этой переправы!

На чистой воде было сравнительно терпимо, и Чибис в ответ на суматошные выкрики с берега декламировал:

А он, мятежный, ищет бури,  
Как будто в буре есть покой...

Но когда въехали в полосу льдин, стало не до декламации. Небольшая льдинка мягко ткнулась о борт, играючи, шаловливо повернула лодку кормой вперед и легко поволокла нас за собой.

— Снимай сапоги! — приказал Чибис.— В случае чего доберемся вплавь.

Километрах в пяти ниже места переправы Оку перегораживал Кузьминский шлюз с бетонными быками. Мы

ясно представляли, что произойдет с нами, если очутимся там. Стянули тяжелые болотные сапоги, сбросили ватные тужурки и начали изо всех сил упираться веслами в проклятую льдину. Но она, словно припаянная, ни на сантиметр не отодвигалась от лодки. Помогла другая — бурая, грязная. Неуклюже напирая, она налезла на нашу льдину, медленно развернула ее вместе с лодкой, так что мы очутились позади.

Облегченно вздохнув, смахнув ладонью пот со лба, Чибис начал рассказывать о том, как примерно лет двадцать пять тому назад «аналогичный случай» произошел с ним на Оби. Вдруг из-за мелких льдин показалось огромное ледяное поле с куском унавоженной, грязной дороги и оставшимся от стога темным кругом. Мы заметили льдину, когда уже поздно было пытаться избежать столкновения с ней.

— Выход один — как только стукнет, прыгать на нее! — предложил Чибис.

Надели ружья, приготовились к прыжку. Но большая льдина оказалась миролюбивее маленькой: она, мягко шурша, приблизилась, слегка колыхнула, накренила лодку и беззвучно потащила ее туда, куда сама плыла.

— Не так страшен черт, как его малюют! — бодро констатировал Чибис и распорядился надевать сапоги.

Наученные горьким опытом, мы решили не отталкиваться веслами от льдины, а, переправившись на нее, побурлачки, лямкой тянуть лодку вдоль края. С берега кричали, махали руками. Сашка-спасатель залез на вышку и что-то вопил в рупор. Но нам было не до разговоров: надо было бороться с бедой. Все же осилили. Избавились от большой льдины и от многих других, более мелких, но не менее опасных. И наконец через несколь-

ко часов совершенно измотавшего нас труда выбрались на чистую воду.

Обливаясь потом, тяжело дыша, мы молча отдыхали, опустив головы, бросив весла.

— Итак,— выпрямился Чибис,— опасность поза...

И не договорил. Я посмотрел по направлению его взгляда и обмер: то, чего мы больше всего боялись, как-то сразу, неожиданно возникло перед нами во всей своей страшной неотвратимости: впереди показались шлюзы. Над плотиной кипел бурун. Льдины, если не разбивались о бетонные быки, минуя их, ломались на пенной, бушующей гриве.

Уже слышался вибрирующий вой сирены, уже взвивались в небо предостерегающие ракеты, а мы были не в состоянии бороться с убыстряющимся течением, неудержимо боком скатывались прямо на быки.

— Всё! — заключил Чибис и полез за папиросами.

И, без сомнения, было бы «всё», без сомнения, на этом и кончились бы наши охотничьи странствия, если бы от шлюзов не отделилась быстроходная моторка и, вздыбливая перед носом седые гребни, не помчалась к нам навстречу.

— А все-таки впереди огни!..— мгновенно преобразаясь, продекламировал Чибис и, сняв облезлую свою, выдавшую виды меховую шапку, приветственно замахал моторке.

Не буду рассказывать, как по заслугам справедливо попало нам от наших спасителей, как Чибис трогательно, покаянно обвинял во всем только одного себя и клятвенно обещал никогда больше не предпринимать никаких рискованных путешествий. Увы, Чибис принадлежал к тем, которым суждены благие порывы, но свершить их

не дано: осенью его, полуживого, вытащили рабочие из затопленного торфяного карьера, куда он полез за убитым чирком.

Только к ночи, выяснив предварительно по телефону, кто мы, нас отпустили с миром. Высадили на вязкую, оттаявшую пашню.

Идти весной по полю — каторга! Сапоги цепко держат густая грязь. Шагаешь, словно на ногах подвешены пудовые гири.

Чибис кричит, сопит, но бодр, весел, говорлив — опасность позади, впереди желанный лес! И занятно выдает за действительность выдумку о том самом «аналогичном случае», о котором не привелось досказать в лодке.

Остаток ночи чаевничали и сушились у костра.

Нет, кто не уставал охотничьей усталю, тот не испытывал блаженства отдыха у костра.

Потом заготавливали еловые лапы для шалашей, потом сооружали шалаша, сажали на воду чучела и, подавая селезню утиный голос в кулак, замирали в ожидании подсадки.

Стрелок Чибис был не из первоклассных и добычливостью особенной не отличался, но стрелял всегда больше и проворнее всех.

«Тах, тах!» — почти сливаясь в один выстрел, раздавался дуплет и, конечно, мимо. Чибис удивленно рассматривал стволы, качал головой, пожимал плечами, прицеливался то в веточку, то в листочек, то в проплывающую щепку, всем своим видом выражая крайнее недоумение по поводу того, как это он, Александр Павлович Ерастов, пропуделял.

— Промазал?

— Поразительно! — изумлялся Чибис.— Не иначе, как живит.— И, еще раз внимательно осмотрев ружье, вспоминал: — Лет двадцать тому назад аналогичный случай произошел...

Над разливом взмывался дружный хохот, и кто-нибудь зычно кричал:

— Кончай охоту, Чибис завелся!

Из кустов, из шалашей выплывали челны, направляясь к завехе Чибиса.

Просторный воздух не зябко свеж и хрустально звучен; неомраченная дымом города, девственно чиста голубизна неба; безбрежная ширь воды вся в серебристых переливах и живых, ослепительных блесках; тонкие ветви с матерински набухшими почками шелестят, шушукаются о своем, неведомом; и теплым человеческим добавком вплетался в певучую тишину утра негромкий говорок Чибиса:

— В ту пору на поймах Томи были великолепные гусиные охоты.

Не перебивая, все жадно слушали, заранее зная, что это выдумка и что она непременно закончится каким-нибудь совершенно невероятным «чибисовским» случаем.

Чибис рассказывал не торопясь, подыскивая нужные слова, скупно, но выразительно жестикулируя, пуская сквозь усы сизый дымок папироски, и, как бы не замечая окружающих, обращался исключительно ко мне:

— И вот представляешь, Николаша, подлетает гусиный косячок. Приникаю к траве, замираю. Передо мною вытянутые шеи, клювы, рвущие траву, гогот. Выбираю скученные головки, поднимаю ружье, выцеливаю...

Чибис останавливался, разглаживал усы, мечтательно-скорбно произносил:

— Боже мой, какие были охоты!..

Замолчав, Чибис погружался в сладостные воспоминания. Хитро, вприщур поглядывая сквозь толстые стекла пенсне на слушателей, почтительно пережидаящих томительную паузу, вдруг с неподдельным негодованием он неожиданно заключал:

— Трех срезал наповал, но ни одного не взял! Смотрю — лежат, лапы кверху. Подхожу — переворачиваются и улетают. Оказывается, ружье живит: вместо убоя получается шок, нервное потрясение!..

Слушатели хохотали, едва не вываливаясь из челнов в воду, а Чибис, скорбно вздыхая, задумчиво разглаживал усы.

При всей своей непосредственной беспечности, Чибис не отличался расточительством. Вернее, он даже был прижимист, а иногда просто неприятно расчетлив. Прекрасный товарищ, он при необходимости делился последним, но угощать без нужды не любил, а частенько, пользуясь русским хлебосольством простодушных деревенских охотников, подсаживался к их котлу, забывая развязать свой рюкзак. За эту «забывчивость» однажды поучительно подшутили над ним.

Пока Чибис спал, опорожнили его рюкзак, разложили на дощечках и лопушках колбасу, селедочку, сыр, сало, вареное мясо, белый хлеб, поставили посередине две бутылки коньяку и пригласили «к столу» Чибиса.

— Угощайтесь! — радушно хозяйничал кузнец Авдонин. — Петр из города гостинцев охотничкам привез.

Чибис сразу понял, в чем дело, но виду не показал что догадался о проделке кузнеца, — был весел, доволен, как никогда остроумен.

— Молодец Петр! Ну что за Петр! — искренне похва



ливал он, смакуя полученную порцию коньяка.— Вот это угостил так угостил! Вот это по-охотничьи! По-товарищески! Не забуду, Петя! Отблагодарю! Непременно с лихвой отблагодарю! Аналогичный случай, помню, произошел со мной...

Все смеялись, чокались с Чибисом за его здоровье, бурно выражая неподдельную свою любовь к нему.

Городские и деревенские охотники от молодых до старых все знали и любили Чибиса за веселый нрав, жизнерадостность, безмерную охотничью страсть.

На весенние охоты он выезжал первый еще до ледохода и лишь в крайнем случае, когда что-нибудь задерживало в городе, в самый ледоход. Затемно отправлялся на уток или на чернышей, вечера проводил на тяге, а ночами уходил в лес искать глухариные тока. Спал урывками, сидя, полулежа, у костра, в челне, на пне, кое-как и где придется. Накроет голову своей учительской пелериной и посапывает, а через полчаса, глядишь, бодрый, свежий, уже на ногах, а вокруг него смех, шутки и веселые сборы на очередную охоту.

Однажды, когда все собирались с подсадными в свои шалаши, из леса вернулся Чибис с глухарем.

В то время охотников было мало, дичи всякой много, количественных ограничений не существовало: бей, сколько хочешь, от прилета до гнездования. Бывало, только оторвется лед от берега, а ты уже сидишь, мерзнешь, бьешь гоголей. Кончали охоту в мае, по теплу, когда ошалелые от страсти чирки камнем падают в любую лужу на голос манка.

Стоит Чибис, держит за шею тяжелого старика-глухаря и с дрожью в голосе заверяет:

— Сам, честное слово, сам! Поверьте...

И столько мольбы в глазах, столько мальчишеской радости, хвастливой гордости, что ни у кого язык не поворачивается усомниться в правдивости его слов.

Я от души поздравляю. Для Чибиса глухарь — редкая, давно желанная дичь. Он горячо благодарит и просит:  
— Не уходи, мне надо рассказать!

Если бы не седеющие усы, не сивый клинышек бородки — в этот момент больше двадцати пяти лет ему нельзя было бы дать.

Мы остаемся вдвоем у затухшего костра. Чибис во власти бурных переживаний пытается подробно рассказать о том, как он нашел ток, как услышал щелканье, как подбегал под пение, с каким трепетом ожидал рассвета, как увидал веер хвоста и выгнутые крылья.

— Нет, это невыразимо!.. — взволнованно хватал меня за руку Чибис.

Очень был он хорош, по-детски искренен в бурном своем охотничьем переживании.

Бывали случаи, когда у Чибиса так «живило» ружье, что, несмотря на изобилие дичи, он возвращался домой пустой. На него было жалко и больно смотреть.

Усевшись где-нибудь в сторонке на пенек, положив голову на ладонь, он неподвижно смотрел вдаль, вздыхал, курил, тихо сам с собой скорбно философствовал о бренности жизни, о жестокости убивать неповинное существо ради удовольствия...

Кто-нибудь из охотников или рыбаков подсаживался к нему, утешал, как мог, рассказывал, что и с ним такая же незадача летось приключилась.

— Как не ударю — летит и летит!..

Подходил второй, третий. Каждый старался успокоить рассказом о своих охотничьих неудачах.

— Плюнь ты тому в харю, кто говорит, что он не может! — пылко восклицал брат кузнеца Авдонины, Петр.

Чибис, растроганный душевным участием друзей-охотников, взволнованно снимал и надевал пенсне, теребил бороденку, торопился к рюкзаку, извлекал недопитую бутылку, и через минуту у костра уже снова смех, остроты и новый занятный рассказ Чибиса о том, как в бытность его учителем... И все слушали, с нетерпением ожидая потрясающей, сногшибательной концовки.

В начале войны, уже глубоким, но еще крепким стариком, Александр Павлович Ерастов отправился в Белоруссию к сыну. Здесь молодой коммунист Ерастов после института работал на заводе инженером. С приближением фронта он ушел в партизанский отряд.

— Анечка, не плачь! — как всегда, бодро утешал Чибис жену. — Я не настолько дряхл, чтобы не участвовать в общенародном деле! Поверь мне — это последний непредвиденный случай!..

На этот раз «непредвиденный» случай оказался действительно последним, от проклятой вражеской пули Чибис умер на руках сына.

Кто знал Александра Павловича Ерастова, прославленного Чибиса, тот хранит светлую память об этом миллом, жизнерадостном человеке, для которого охота была поэзией, источником молодости и любви к родине.

#### 4

Костя, дорогой Константин Васильевич, неизменный и незаменимый соучастник осенних охот и ночных рыбацких бдений! Стеша, милая Степанида Григорьевна! Как не хватает вас в моей жизни!

Был у Константина прекрасный, высоких кровей ирландец. Почти на глазах, почти мгновенно растерзали его на охоте волки — только отчаянный предсмертный вопль-визг да клочья бронзовой шерсти...

В голос плакал большой грузный мужчина, уткнув крупное лицо в окровавленную псиную шерсть. Добрейшая Степанида Григорьевна с ума сходила по любимому члену семьи. Потребовались месяцы, чтобы сгладилось горе и Константин Васильевич со Степанидой Григорьевной смогли спокойно, с тихой грустью вспоминать своего красавца Рено.

Детей у них не было. Жили вдвоем, до старости сохранив друг о друге трогательную заботливость.

С потерей Рено Константин Васильевич охотился исключительно с моими собаками, поэтому относился к ним, как к своим. Ну, а раз Константин Васильевич любил Марго и Джильду, Степанида Григорьевна тоже не могла не питать к ним нежных чувств.

Охотиться с Константином было необычайно легко и приятно. Его присутствие никогда не порождало тягостного ощущения постороннего, лишнего человека. Изнурительные переходы в осенний дождь или в летний зной переносились им терпеливо, без обычной в таких случаях у многих нудной сварливости. К скромной, ограниченной еде, ко всяческим охотничьим неудобствам и досадным случайностям относился он стоически невозмутимо, а в особо тягостные минуты старался шутками развеселить, подбодрить товарища. Не жадный, сдержанный, выносливый, он был незаменим в любой охотничьей обстановке. Именно поэтому каждую августовскую охоту я проводил с Константином.

Нередко нам сопутствовала Степанида Григорьевна.

Тогда отпуск превращался в сущее отдохновение. Мы брали с собой не только охотничье снаряжение, но и рыбацкие снасти. Нагружали машину всякими нужными и ненужными вещами и отправлялись на месяц, а то и на полтора куда-нибудь в Мещеру, где и дичи много и рыбы полно.

В то время Константину было сорок пять лет, Стеше сорок четыре. Но право, иным двадцатилетним молодоженам не мешало бы поучиться у них не бросающейся в глаза, я бы сказал, целомудренной любви, товарищеской заботливости и дружескому уважению друг к другу.

Я никогда не слышал в их устах противных, липких, как патока, фальшиво-нежных слов; никогда не улавливал ничего нескромного, пошлого, в их поведении никогда не замечал оскорбительной вспыльчивости, сварливой раздражительности, «семейных» ссор из-за каких-нибудь пустяков. Они всегда были просты, ровны, спокойны, во всем нераздельно согласны и предупредительно уступчивы.

Как-то зимой пришел к нам Константин Васильевич и, чего с ним никогда не случалось, не раздеваясь, плюхнулся на диван.

— Что такое? — забеспокоилась моя жена.

Константин скорбно посмотрел на нее и несчастным голосом произнес, опустив голову на грудь:

— Стеша заболела!

Ничего страшного не произошло: Степанида Григорьевна простудилась и неделю пролежала в постели. Никаких следов от болезни не осталось, но Константин Васильевич долго потом заставлял ее кутаться поверх шу-

бы в шерстяные платки и выходить на улицу не иначе, как в валенках.

Даже во время бесконечных своих директорских заседаний он улучал минуту, чтобы позвонить домой, справиться об ее здоровье и, заговорщически зажимая в кулак рожок трубки, полусшепотом сообщить, что купил любимые ею вяземские пряники.

Она не отличалась красотой. Простое русское округлое лицо, сочные губы, едва заметные над серыми глазами брови, гладко причесанные, забранные в пучок русые волосы, славянски-рыхловатый нос, полная белая шея, налитое силой крепкое тело — обычная русская женщина. Но когда Костя читает вслух, а Стеша слушает, подперев ладонью щеку, когда они сумерничают, вспоминая что-либо им дорогое, лицо ее преображается, в голосе, в движениях появляется что-то такое интимно-милое, что, право, она становится красивее всяких признанных красавиц.

Константин никогда не говорил о своей любви к Стеше и Стешиной — к нему. А ежели при нем затевался разговор вообще о любви, он всячески старался отвлечь от этой темы и, конфузясь, хмурясь, нарочито грубовато, категорически утверждал:

— Любовь — не словесная мишура! Кто болтает о любви — тот понятия о ней не имеет. Вообще не переносу пустых разговоров. Поговорим лучше об охоте.

Разгрузив, отпускали машину, строили где-нибудь на берегу реки или озера два шалаша и праздновали новоселье у жаркого костра.

На попечении Стеши были завтраки, обеды и ужины. Но, случалось, она «бастовала», брала ружье, надевала

сапоги и отправлялась с нами на охоту. Тогда, вернувшись, сообща кухарничали, весело, безобидно подтрунивая друг над другом.

Иногда ночью втроем ловили рыбу. Ночной лов требует большого навыка, особого умения по колокольчику отличать клев и инстинктивно улавливать момент, когда надо подсекать.

Переговариваемся шепотом и только о самом необходимом. Слушаем тишину, подчеркнутую всплеском рыбешек, сонным голосом потревоженной птицы да шуршанием листьев, тронутых набежавшим ветерком. Шагах в десяти потрескивает костерик, на рогульке висит чайник, у кусок хлопочет Стеша.

Великолепны бархатные, августовские ночи: сошли комары, прохладно, в темной бездне россыпь звезд, кругом мирная деревенская тишина. В такие часы тянет к теплой, душевной беседе, к сердечным откровениям.

— Я знаю, ни мне, ни Стеше не дожить до полного равенства на земле, но в такую жизнь верю и представляю ее себе так ясно, как будто в ней жил!..

Негромкий баритон Константина подходит к ночной тишине, улетающим искрам и потрескиванию елового сушняка.

Марго с Джильдой, вальяжно растянувшись, блаженно урчат во сне. На сковороде шипят караси. Стеша переворачивает их ножом, поддерживая пальцем левой руки, каждый раз облизывая и дуя на него.

— Изжаришь палец,— смеется Костя.

— Караси от этого вкуса не потеряют,— отшучивается она.

— Пора? — тянусь я за фляжкой.

Костя кивает и, звякая, ставит передо мной три кружки.

— Я не умею по-умному обсказать,— признается Стеша,— но вот вся душа моя светом озаряется от костра! И так на сердце становится!.. Так каждая жилочка играет, что сказать не могу!.. Нет, баба я — баба и есть!

Смеется, закрывая лицо ладонями, и в душевном ее тихом смехе столько бессловесного, невыразимого счастья, что Костя смущенно шепчет:

— Стеша, экая ты, право!..

И старается незаметно прикинуть щекой к ее плечу.

Я усердно ковыряю караса, всячески делая вид поглощенного едой человека.

Далекие, милые друзья моей молодости! Как давно все это было, как забыто и как помнится...

Вот Джильда — молодой темпераментный пойнтер — тянет, хватая пастью воздух, струнно пружиня прутик, вытянув на уровень шеи голову; ей секундирует английский сеттер, опытная старушка Марго, а мы втроем, затаив дыхание, с ружьями наготове осторожно крадемся за ними.

Стеша наравне с нами стоически переносила неудобства охоты. Когда надо, смело шагала по топкому болоту и, не боясь набрать в сапоги воды, переправлялась вброд через неглубокую речку. Все у нее было, как у заправского охотника, и вела она себя, как настоящий охотник, но отличалась от него в самом существенном: она никогда не стреляла. Подойдет, приготовится, вскинет ружье, прицелится — Костя крикнет:

— Бей!

А она улыбнется и опустит ружье.

— Костенька, не могу! Не неволь — не могу!..



И это было куда приятнее, женственнее, более подходило к ней, нежели меткий, убойный выстрел.

Костя, бывало, только крякнет и, не давая скрыться дичи, убьет двумя выстрелами пару.

— Вот как надо,— назидательно говорил ей.

— Так и делай,— соглашалась миролюбивая Стеша.— А меня не заставляй.

— Экая ты, право, Стеша, чудная: бить не бьешь, а мытаришься, мучаешься. Сидела бы у шалаша, ловила бы рыбу,— уговаривал Константин.

— Мне, Костенька, любо искать дичь,— серьезно оправдывалась Стеша,— смотреть на работу собак и на вас: вы такие красивые становитесь, такие ловкие! А разве я в тягость?

Мы горячо заверяли, что ее присутствие ничего не доставляет нам, кроме удовольствия, что Костя советует ей беречь себя исключительно из самых добрых побуждений, из-за заботы о ней.

— Вот поэтому-то я и хожу,— смеется, перебивая, Стеша,— чтобы почувствовать заботу мужчины! Вы не знаете, как приятно бабе, что заботится мужчина!

Непринужденно, вольготно жилось нам втроем на охоте.

Хорошо было и вдвоем. Правда, исчезал тот особый настрой, который порождался приветливой молодой женщиной, но охотилось так же увлеченно, рыбачилось не менее романтично и так же пахло в шалаше землей, сеном, прелью и еще чем-то необычайно ароматным, присущим только шалашу. Иначе складывались разговоры, получались они как бы серьезнее, посуровее, чем в присутствии женщины.

Помню серый, дождливый день. Ночью разбудила

гроза. Голубые молнии рвали темноту, пушечный грохот раскатывался по лесу, шумно хлестал по листьям ливень, с гулом налетали порывы ветра. Было красиво и жутковато. Казалось, молния падает то на шалаш, то на стройную, выхваченную из мрака ель, то в клокочущее озеро, то ослепительно режуще — прямо в глаза. Над головой раздавался зловеющий скрежет, оглушительный удар, и по-над лесом долго рычало злобное, устрашающее эхо. Гроза бушевала всю ночь.

В грозу, да еще ночью в лесу, как ни храбрись, тревожно: слушаешь, смотришь, напряженно ожидая очередной молнии, гадая, минует она тебя или уничтожит мгновенным, испепеляющим огнем. Заснули перед зарей. Проснулись поздно. Шел ровный, спокойный обложной дождь. Осенью такие дожди идут нескончаемо, сутками, пропитывая все невысыхающей сыростью. Ну, а в августе осени не получается: проходит два, три часа и, глядишь, лопнула, расплзлась серая наволочь, открылось голубое окошечко, выглянуло солнышко, и вновь все засияло, каждая капелька на кустах сверкает бриллиантом, и обновленный мир вновь радостен и светел.

Мы лежали, смотрели в треугольник входа шалаша на озеро, покрытое свинцовой рябью, и неторопливо продолжали вчерашний разговор.

— Вот проживу месяц в таком шалаше — и набираюсь сил, могу своротить горы, — подперев голову ладонью, рассуждал Костя. — Видал отработанный аккумулятор? Чуть краснеет лампочка — вот-вот совсем погаснет, иссякнут последние силенки. А когда его зарядят, когда вновь он наполнится энергией, лампа излучает ослепительный свет! Так вот для меня охота: вновь заряжаюсь и вновь работаю в полную силу, отдаю с удо-

вольствием, с увлечением полученную зарядку! — Косится на меня.— Чего молчишь?

— Слушаю!

— Не интересно?

— Очень интересно.

— Не врешь?

— Не вру.

— Тогда слушай до конца. Было это до революции. Дает мне мастер деталь и велит высверлить в ней сквозную дырку диаметром в два миллиметра с наклоном в десять градусов. Работа тонкая, точная. Смотрю на чертежик, прикидываю — страшно браться. Запору. Деталь ценная — испорчу, ползаработка вычтут. А показать вид, что боюсь, нельзя: мастер доверять перестанет, на легкую, дешевую работу переведет. Попросить товарища — стыдно. Попробовал на куске железа — диаметр выходит, а наклон не получается. Нервничаю, волнуясь, злюсь. Впору идти, возвращать мастеру деталь. Времена были не теперешние: мастер в цехе царь и бог, что хочет — то и сделает. Вдруг прибегает паренек, дружок из проходной, зовет: «Иди скорее — Степанида у ворот ждет!» Бегу — земли не чую... Поговорили пять минут, я тогда решительного ответа от нее ждал. Прилетел в цех — все во мне так и поет: один бы за всех работал! Схватил деталь и вмиг выполнил все точно по чертежу. Мастер даже головой крутнул: «Молодец, говорит, признаться, побаивался, что запорешь!» Вот так и охота заряжает живой силой, пробуждает от спячки, наполняет молодостью!

— Слушая тебя, можно подумать, что все должны стать охотниками,— вставляю я.

— Напрасно иронизируешь,— останавливает Констан-

тин.— Не обязательно именно охота, но какой-то возбуждающий спорт, увлечение, пристрастие, непосредственно не связанное с повседневной работой,— что-то непременно должно владеть каждым человеком.

К обеду дождь истощился. Поднялись, поредели, а потом куда-то исчезли тучи. Последнее облачко повисло белым пушком над озером и растаяло. Омытое небо заголубело, сверкающей чистотой заиграла зелень.

Костя начал копать червей. Я налаживал удочки и жерлиц. Собаки отдыхали,— они вылезли из шалаша, нехотя похлебали консервный суп и растянулись на припеке.

Обычно на охоту выходили рано, когда густой туман плотно лежит в низинах и мгlistой дымкой стелется над полями. С листьев капает роса, холодит шею. Поверх болотных сапог вмиг до пояса становишься мокрым. Вымоченные травой и листьями собаки дрожат. Но проходит час, другой, над лесом выплывает солнце, туман редеет, тает, собачья шерсть курится паром.

Холод росы ощущаешь до первой подводки, до первого выстрела. Шагаешь, корчишься, запихивая руки в сырые рукава негреющей сатиновой рубахи, нахлобучив кепку на уши, чтобы с козырька не стекали на нос противные капли. Идешь, съезжившись, и представляешь уютную постель на сене в сухом шалаше. Но вот собака придержала ход, повела нюхом и потянула. Мгновенно забыты холод, сырость, щекочущие струи за шиворотом — рука сбрасывает с плеча ружье, переводишь предохранитель, шаг становится медленным, сторожким...

— Спокойно, собачка, спокойно, милая!

Телу жарко. Кепка откинута на затылок. Дыхание еле переводишь, пальцы сжимают шейку ложки. Я смотрю на Костю — от него, как от Джильды, идет пар.

Стойка... Выстрел...

— С полем!

В ягдташе приятный вес дичи, щеку греет выбравшееся из-за леса солнце, радостная бодрость наполняет душу.

Стрелял Константин почти всегда навскидку, метко, но никогда не хвастался добычей и терпеть не мог вранья о потрясающей стрельбе без промаха.

— Мне понятна фантазия охотника: уж больно поэтична обстановка! Невольно прикрашивают, придумывают какую-нибудь чепуховинку для вящей картинности. Правда, от этого обычно картина краше не получается, и рассказчик не выглядит лучше, но ему кажется — добавок необходим, — добродушно смеется Костя, вспоминая какой-нибудь охотничий рассказ с «добавком».

Но когда увлекшийся охотник, переступая нормы возможного, пылко жестикулируя, начинал изображать, как с одного выстрела у него «валится» пара, как на тяге «бьет дуплетом» и вальдшнепы «камнем падают прямо в ноги», Костя бесцеремонно останавливал «меткого» стрелка:

— Хватит, дорогой, а то всю дичь перебьешь!

Хорош, красив он был в момент выстрела.

Шумный взлет, резкий удар, короткая команда:

— Даун! — и спокойное, улыбающееся лицо достигшего цели человека.

Эжекторы, как из бутылки пробку, щелкая выбрасывают гильзы. Костя продувает стволы, минутой стоит не-

подвижно, небрежно кинув на руку разложенное ружье, негромко окликает:

— Гоп! — И приказывает: — Ищи!

Собака стремительно бросается вправо, влево и замирает, с ходу упершись передними лапами в кочку у куста.

— Тубо!

Константин подходит, гладит и из-под носа поднимает убитую дичь. Все это проделывается им спокойно, не спеша, с уверенностью в безошибочности своих действий.

Мне думается, что движения зверя красивы потому, что они инстинктивны. И охотник тогда красив, когда непроизвольно отдается страсти и, уподобляясь зверю, забывая обо всем, без позерства, без рисовки, инстинктивно производит нужные движения.

Жизнь в шалаше, обладая многими прелестями, не обходится и без неприятных случайностей.

Однажды, вернувшись с охоты, мы застали у шалаша трех молодцов с весьма агрессивными намерениями.

— Водка есть? — не здороваясь, обратился к Константину Васильевичу чумазый, веснушчатый малый в зеленой шляпе.

Собаки зарычали.

— Папаша! — примиряюще предложил другой, в сандалетах на босу ногу.— Закусим, выпьем и разоидем-ся, как в море корабли!

Константин молча, сдвинув брови, изучающе приглядывался к ним. У Марго на загривке вздыбилась шерсть, Джильда, лязгая, показывала зубы.

— Вот что, ребята,— сказал я, беря собаку на сворку,— идите-ка вы подобру-поздорову!..

— Ну зачем же идти? — ухмыльнулся Константин. — Посидим, поговорим, познакомимся. Видишь, хлопцам выпить захотелось — придется угостить!

Неожиданный оборот разговора насторожил незнакомцев.

— Ты, папочка, — угрожающе поднялся третий — худой, высокий, с рябинами на впалых щеках, — шуточки шути с шутниками. Я, папочка, могу шутя серьезное сделать! И если у тебя, папочка...

Дальше договорить он не успел — Константин так рванул его за руку и вывернул ее к спине, что малый присел и покрылся бурыми пятнами.

Двое бросились было на помощь, но собаки свирепо зарычали, и они остановились.

— Если пошевелитесь, спущу собак! — пригрозил я.

— А ну, выворачивайте карманы — черт вас знает, кто вы такие! — приказал Константин.

В карманах оказалась всякая ерунда: спички, папиросы, перочинный нож, платок, кусок колбасы в газетной бумаге, скомканные рублевки.

Константин отпустил высокого и спокойно констатировал:

— Дураки вы и прохвосты! Руки о вас пачкать противно, а надо бы поучить. Разжигайте костер!

Через полчаса над огнем висел чайник и котелок с варевом, пристыженные ребята рассказывали о незадачливом своем походе. Работали они на торфодобыче и малость подгуляли в соседнем поселке, потом с кем-то подрались и отправились в лес «привести себя в чувство». Бродили, бродили, да и наткнулись на наш шалаш.

Уходя на охоту, мы обычно прятали в укромном

месте продукты и ценные вещи. Ни водки, ни закуски в шалаше ребята не нашли, но, увидав, что нас всего двое, да к тому же оба немолоды, решили «взять на испуг».

Константин принес бутылку. Выпили, пообедали. Ребята так были сконфужены, так покаянно молили «простить заради Христа» и так рьяно благодарили за «наставление», что мы «простили» и предложили переночевать у нас. Но им с утра надо было выходить на работу, поэтому, расспросив подробно о дороге, еще и еще раз извинившись и пообещав «век не забыть дорогое знакомство», отправились восвояси.

Но случались и другие неожиданности. Особенно знаменательна была последняя из них.

В тот август мы обосновались на крутом берегу Оки, километрах в десяти от большого села, не в шалаше, а в палатке. Охотились больше на болотную мелочь и утиные выводки. У нас была лодочка, и мы часто с удочками проводили в ней утренние и вечерние часы.

Сидим так-то вот раз, погруженные в созерцание неподвижных поплавков, упиваемся солнечным простором, блаженствуем, околдованные бездумным покоем.

Вдруг закатистый хохот выводит нас из сладостного оцепенения. Поднимаем головы и, удивленные, видим двух девушек с хлопцем. Они сидят на краю берега, болтают босыми ногами и заливаются неудержимым смехом.

— Извините! Пожалуйста, извините! — крикнула девушка в голубой повязке. — Вы так замечательно клюете носами — невозможно удержаться. Поплавки не шевелятся, а вы клюете!

— Откуда вы появились? — спросили мы их.



— Вон оттуда! — протянула руку в сторону далекого села другая девушка.

Смотали удочки, подъехали к берегу, вылезли. Оказались комсомольцы из соседнего колхоза. Знакомство состоялось быстро. Завязался разговор, посыпались шутки, остроты. В колхозе они работали на животноводческой ферме, одновременно учились на общеобразовательных курсах.

Через час Константин Васильевич был по-приятельски со всеми на «ты», Витя называл его Васильичем, а Катя с Олей — дядей Костей. Наши новые знакомые с удовольствием приняли приглашение почаевничать у палатки. Вокруг костра поднялась веселая суетня. Девушки готовили завтрак, Витя хлопотал у огня.

— Вот она, наша советская молодежь! Что общего с теми обормотами? Жалко, нет Стеши! — расхваливал Константин нежданных друзей после их ухода.

В тот охотничий месяц Катя с Олей и Витей, а с ними и их товарищи были частыми нашими гостями. С ними было так легко и так приятно, что Костя перед отъездом взял с них слово приезжать к нему в город.

— Жена у меня великая мастерица угощать, от ее изделий невозможно оторваться, — радушно соблазнял их Константин Васильевич.

Виктора он обещал устроить к себе на завод и в вечерний техникум.

Нас провожала чуть не вся колхозная комсомолия, и мы, отослав вперед машину, с удовольствием прошли с ними пять километров до большой ежальной дороги.

Константин Васильевич сдержал свое слово: поздно осенью, после уборки картофеля, Виктор был принят на завод учеником в токарный цех. На следующий

год он выдержал экзамен и стал студентом вечернего техникума. Сейчас Виктор Петрович инженер-конструктор.

Катя с Олей зимой побывали у Степаниды Григорьевны и очень пришлись ей по душе. Случайное знакомство перешло в дружбу. Степанида Григорьевна привязалась к ласковым девушкам с нежностью истосковавшейся по материнству женщины. И когда Катя с Олей поступили в институт, Стеша заботилась о них, как о своих детях. Константин делал вид, что не замечает чрезмерные хлопоты Стешы.

— Таких радушных, сердечных, умных людей, таких честных и прямых я никогда не встречала,— вспоминает о Константине и Стеше Катя. Ныне она мать четырех детей, главный агроном крупного совхоза, Екатерина Федоровна Старикова.

То же говорит о них и Оля — Ольга Сергеевна Рублева, ветврач и секретарь парторганизации совхоза.

Я смотрю на портреты в темных рамках из мореного дуба, сердце сжимает горе — перед мысленным взором возникают, как мираж в пустыне, картины совместных охотничьих походов.

## 5

Я люблю погожие осенние дни. Прохладный воздух чист и звонок, сквозь причудливое сплетение ветвей сияет безоблачная высь, солнечные лучи еще хранят ласку тепла, но в хрупком угреве их уже чувствуется близость холодов. Есть в осени нечто общее с тихой печалью по уходящей молодости, со скорбным ощущением приближающейся старости. Плывет над голым полем ястреб —

в пустынном просторе тоскует острый, одинокий его крик...

Медленно шагаешь. Лес дремлет в безветрии. Вдруг доносится отрывистый, ленивый брех.

Останавливаешься, вслушиваешься. Вот еще, еще... Замолчал. Напряженный слух ловит малейший звук — падение шишки с дерева кажется громким стуком. И вдруг... Вдруг пронзительный, надрывный лай взбудораживает лес и пошел, пошел неумолчный гон.

— Напоролся на лежку!.. Добирает!..

Срываешь с плеча ружье, сдерживая нервное дыхание, спешишь подставиться, а губы шепчут:

— Карай!.. Караюшка!.. Голубчик!..

Нет, надо быть охотником, чтобы постичь музыку гона по чернотропу в хрустально звонкое сентябрьское утро.

В такие дни я особенно люблю охотиться один. Был у меня бесценный друг костромич Карай: зря не брехнет, а уж коли подал голос — не сколется, доберет!

Умный, добрый, ласковый, но строгий сторож, он был любимцем всей семьи. С сибирским котом Зайкой и легавыми собаками он жил душа в душу. Плут Зайка, бывало, стащит что-нибудь вкусное на кухне и опрометью мчится спасаться к Караю в будку. Урчит и жрет, а Карай уши настопорит и недоуменно смотрит: дескать, вот нахал, украл, да еще ко мне приволок! Но никогда не трогал, не рычал на него.

Охотиться с ним было истинным наслаждением. Войдешь в лес, легонько порскнешь:

— Ай-аа-ай!..

И Карая не увидишь до стрельбы. Сколько раз, бывало, темнота заставляла на гону. Зовешь, трубишь, стре-

ляешь — невозможно оторвать от следа. Случалось, Карай возвращался домой глубокой ночью. Крадучись проберется в конуру и звука не подаст о своем существовании. Утром позовешь. Вылезет, виновато проползет на брюхе два-три шага и ляжет на спину, лапами кверху.

— Ты где шатаешься, негодяй? — нарочито строго выговариваешь ему.

Он ляжет и, покаянно щурясь, отворачивает морду в сторону.

— Ах ты, Карай, Карайка!..

Почувствовав ласку, мгновенно вскакивает, подпрыгивает, ловчась поцеловать в губы, и в восторге кубарем завертится по двору. На шум выбегают легавые, и поднимается такая кутерьма, что соседи через забор заглядывают.

Карай прожил у меня до глубокой старости. Полуглухой, полуслепой, беззубый, он неслышно умер в своей конуре. После у меня побывало много всяких гончаков, но такого не было.

Вот он-то и свел меня с туголесским лесничим, страстным гончатником, умным, приятным собеседником и неутомимым ходоком. Влюбленный в природу, он так рассказывал про жизнь леса, что деревья представляли перед слушателями живыми, одухотворенными существами. Могучего сложения, грузный и медлительный, в лесу ходил он совершенно неслышно, отчего всегда пугал неожиданным своим появлением.

Однажды, увлеченный гоном, я подстал на перекрестке двух дорог с ружьем наготове. Густой, с плачущими нотками, лай Карая приближался, вот-вот должен был показаться заяц. Вдруг спокойный, медлительный голос заставил меня обернуться и опустить ружье. Сза-

ди стоял высокий, незнакомый человек с ружьем на плече.

— Прошу вас,— сказал он,— не стреляйте! Пусть еще кружок дадут.— И, повернув ухо к гону, блаженно закрыл глаза.

Беляк вымахнул на дорогу, проскакал Коньком-Горбунком мимо нас, а за ним промчался Карай, не отрывая дикого взора от прыгающего впереди пятна.

— Вот это гон!..— восторженно качал головой незнакомец.— Давно хотелось послушать вашего гонца! — И, протягивая руку, представился: — Георгий Викторович Морянков — лесничий.

Георгий Викторович оказался оригинальным и милым человеком. Он не был женат, но у него были дети.

— Студенческий грех,— объяснил он.— Женщина была пресимпатичная, но терпеть не могла собак — пришлось расстаться!

Сын и дочь жили у него, но с двенадцати лет воспитывались самостоятельно: осенью он отвозил их в Рязань на учебу, снимал им комнату, оставлял деньги и предупреждал:

— На три месяца. Истратите раньше — будете голодать. Пишите не чаще раза в месяц.

И на всю зиму уезжал в лесничество.

Позже, уже будучи в приятельских отношениях с ним, я откровенно порицал его методу воспитания.

— Ты Карая любишь? — перебил он меня.

— Очень! — искренне признался я.

— Почему же ты с ним строг? Почему не балуешь?

— Не хочу портить.

— Всё! О детях больше ни звука,— заключил Георгий Викторович.

Я не педагог: мне трудно судить о правильности такого воспитания, но ребята у него получились прекрасные. Геннадий окончил школу с золотой медалью, а Леля выдержала трудный экзамен в консерваторию. Воспитывались они по-спартански: все лето Геннадий бегал в одних трусах, а Леля не сменяла коротенького, без рукавов платьица.

В деревне у Георгия Викторовича стоял заколоченный, давно покинутый дом, сам же он жил в казенной при лесничестве квартире, где и хозяйничал один без посторонней помощи. Геннадий с Лелей тоже хозяйничали самостоятельно: сами готовили пищу, сами себя обстирывали, убирали комнаты, кормили кур, уток и гусей, варили собакам похлебку. Кровати им заменяли тонкие волосяные матрасики, которые на ночь стлались на пол, а на день убирались в шкаф. Спали в любую погоду при открытом окне под легким пикейным одеялом. Прямо со сна бежали к пруду, окунались, плавали, гонялись за утками и гусями. Затем умывались студеной водой у колодца и отправлялись на кухню ставить самовар, варить картошку и печь на примусе любимые отцом лепешки.

Отец при них старался казаться особенно суровым, но сердце детей обмануть нарочитой строгостью невозможно, и частенько в ответ на отцовское ворчанье они дружно бросались на него. Силой природа наделила Георгия Викторовича поистине медвежьей, и неравная борьба мгновенно кончалась их поражением. Геннадий лежал распластанным на полу, поперек него Леля, а отец в позе гладиатора попирал их ногой и скручивал толстенную сигарку — Георгий Викторович признавал только махорку.

Ребята молили о пощаде, но отец курил, не обращая на них внимания, и, если я заставлял такую сцену, серьезно объяснял:

— Это помогает им осмысливать свое место в жизни!

Любили они своего чудаковатого отца безгранично. Всю жизнь он оставался для них образцом мужества, честности, доброты и справедливости.

О матери при мне никогда никто из них не вспоминал. Но я слышал, что дети по требованию отца изредка навещали ее и отвозили ей «деревенские подарки». Кто она, где и как живет — я не знал. Георгий Викторович про нее ничего не рассказывал, а расспрашивать было неудобно.

Как-то раз я заметил, что неплохо бы ему завести хозяйку. Георгий Викторович нахмурился и коротко ответил:

— Не хочу портить отношения с ребятами.

Так и остался он холостяком, оберегая дружбу с дочерью и сыном. Однажды я застал его за письменным столом перед портретом девушки, доверчиво приникшей к тонкой березке.

— Кто это? — любопытствовал я.

Он торопливо спрятал в ящик портрет и, шумно отодвинув кресло, спросил, не отвечая на вопрос:

— Хочешь квасу?

Мне запомнилась тугая коса через плечо на груди, глубокий, чуть недоумевающий взгляд и растерянная, робкая улыбка... Она ли это, другая ли — не знаю. Георгий Викторович явно не желал вести разговор о портрете.

В то лето, когда Геннадий перешел на второй курс,

а Леля выдержала экзамен в консерваторию, Георгий Викторович продал свой деревенский дом и купил сыну прекрасное, дорогое ружье «Лебо», а дочери пианино.

— Без сантиментов! Без сантиментов! — сдвинул брови Георгий Викторович, заметив волнение Геннадия.

Но Леля, не обращая внимания на это, повисла у отца на шее и, заглушая высоким сопрано густой бас, запела:

— Папка мой! Папка мой! Папка — бука золотой!

Я так привык видеть Геннадия в одних трусиках, а Лелю в коротеньком платьице, что, когда однажды на террасе меня встретили высокий молодой человек в ладном сером костюме и красивая, стройная девушка в изящном летнем платье, я не сразу узнал в них моих юных друзей.

— Нет, каковы щелкоперы, а? Комильфо! Рязань ко-сопузая, а? — трунил Георгий Викторович, усиленно дымя махоркой. Но за грозным шевелением бровей не могла укрыться отцовская гордость. — Нет, ты обрати внимание на самодовольство этих рож. Парижский шик рязанского раскроя, — не унимался Георгий Викторович.

Страстный любитель и большой знаток гончей охоты, Георгий Викторович половину своего заработка тратил на содержание двух-трех разноголосых смычков.

— Выйдешь в мелятничек, спустишь собачек! Пор-скнешь: «Ай-яя-аа-я-яй!.. Держись, косой!..» И пошел, пошел по лесу стон, звон-музыка! Куда там Лельке со своим сопрано!

По дичи он не охотился, но любил ходить на глухариный ток, чтобы посмотреть и послушать дремучую птицу. Умел в совершенстве кричать чирушкой и кряко-



вой. Спрячется в густом ивняке и наслаждается: то селезень, жакая, опустился рядом, то клинчик плюхнулся у самого куста.

— Вот так вас, кавалеров, на тот свет и приглашают,— вразумительно объясняет он селезню или чирку, вдосталь налюбовавшись жениховским их нарядом.

Особенно ловко он обманывал чернышей. В чуфыканье тетерева много всяких оттенков: тут и страсть, и угроза, и мольба, и мужество, и молодой задор, и истома. Все это в совершенстве постиг Георгий Викторович и так изумительно точно изображал на всяческие тона чуфыканье, то с присвистом, то со злым шипением, то озорно-вызывающе, то с хлопанием крыльев (ладошками по голенищам), то с неотразимым бурным призывом, что разъяренный, краснобровый петух вплотную подлетал к кусту и, приняв боевую позу, начинал высматривать соперника.

— Ну и хорош! Чем не рыцарь в доспехах! — громко восхищался Георгий Викторович, вспугивая косача.

Как-то раз, по обыкновению без ружья, он отправился со мной на тягу. Облюбовал удобный пенек, сел, свернул сигарку, задымил. Я отошел в сторону, но так, чтобы удобно было его видеть.

Певчий дрозд, устроившись на самой макушке высокой ели, четко вычерченной на розово-палевом фоне заката, пел. Казалось неправдоподобным, что из такой крошки исходят покоряющие, неумолчные трели, свист, щелканье, гортанные переборы, хрустальный звон, заглушающие крикливую болтовню щеглов. Живая статуэтка самозабвенно упивалась чудесной импровизацией — и лес, и воздух, и закат в безмолвии внимали ей.

Георгий Викторович сидел, склонив голову, и не ше-

велился. В пальцах забыто дымилась сигарка — тонкая сизая ниточка, колыхаясь паутинкой, вилась кверху. Померкло небо, затух закат, лес заволакивали сумерки, а дрозд все пел, и все так же неподвижно, положив голову на ладонь, сидел Георгий Викторович.

Вдруг сбоку над лесом послышалось сердитое хорканье и острое цыканье. Георгий Викторович вздрогнул, поднял голову навстречу плывущей с низко опущенным клювом птице, и меня поразило выражение его замороженных, немигающих глаз и неопределенная мягкая улыбка — столько в них было человеческой доброты.

Меня он не упрекал за стрельбу, но сам никогда не бил.

— Током и тягой предпочитаю любоваться без крови, — лаконично объяснял он.

Но волкам, лисам и зайцам от него пощады не было. На вопрос, почему к ним он не испытывает такой же жалости, как к дичи, убежденно заявлял:

— Волк — сволочь, лиса — прохвост, заяц — дурак. Не переносу в живой среде подобные разновидности!

Краем болота, на потных низинах, вперемежку с ольхой росла осина. Заготавливать из нее дрова — сплошной убыток. Из-за далекого расстояния до наезженной дороги и тяжелой трелевки они обходились дороже березовых. Вот и решил Виктор Георгиевич драть из нее щепу.

Едва пронесся слух о том, что в лесничестве продается щепа, как в контору посыпались заявления от деревенских застройщиков. Организовывать механизированную заготовку щепы было нецелесообразно, но драть ее кустарным, дедовским способом, самодельным ручным стругом, было очень выгодно. Делалось это так.

Спиливалась на высоте пояса осина. В пень, как в столб, вбивался штырь, а на него, как колесо на ось, насаживался деревянный брус с остро отточенным стальным ножом, который вставлялся в него, как в колодку рубанок. Под воротом помещались козлы, а на них укреплялся ошкуренный осиновый кругляк. И когда рабочий водил брус взад и вперед, из-под ножа в прорезь, как из рубанка стружка, вылетали пахучие осиновые лепестки. Один человек за день легко нарезал полторы-две тысячи щепы. Работали вдвоем. Валили дерево, распиливали, разделявали, и пока один подготавливал болванки, другой нарезал щепу. А когда все ближние деревья были использованы, выбивали из пня штырь, поднимали на плечи козлы с воротом и переносили весь «завод» на новое место, к новым осинам.

— Весьма понравилось начальству такое производство,— рассказывал Виктор Георгиевич.— Всем лесничествам предложил лесхоз перенять наш опыт.

Поглощенный любимым делом, Виктор Георгиевич нередко возвращался домой затемно, усталый, голодный, но очень довольный.

Всюду надо быть, все надо осмотреть, проверить, поговорить с мастерами, с рабочими, дать совет, распорядиться. В линейке, запряженной разжиревшим на вольном пастбище вороным конем, Георгий Викторович разъезжал по местам работы. От веселого трудового гомона, от просторного лесного духа молодеца душа.

— Пошевеливайся, толстозадый! — хлопал он вожжой по раздвоенному лоснящемуся крупу, и задремавший было на ходу мерин, прыгал, недоуменно задирает голову к дуге и бежал к дому.

Особенно пристального внимания требовал питомник, где из легких, летучих семян выращивались тоненькие пушистенькие хвостики елочек и сосенок.

— Самый трудный для дерева — младенческий период. Сумеешь воспитать до двух лет — можно рассчитывать после высадки на рост дерева.

Георгий Викторович увлеченно рассказывал о жестокой борьбе за существование дерева с момента выхода его из земли до конца жизни.

— Человеку не грозит столько бедствий, сколько вот этому хилому существу, — говорил он, опускаясь на корточки перед тонюсеньким прутиком и осторожно трогая толстым пальцем нежный, гибкий кончик будущей липы. — Ребенка оберегают от болезней, от ушибов, а его надо уберечь не только от болезней и ушибов, но и от зайцев, зверей, птиц, мороза, жары, вредителей. Но и это не все: поднимется, раскинет ветви, станет деревом, и начнется смертельная борьба за солнце. Гляди! — указывал Георгий Викторович на длинную, хлипкую осинку. — Забили ее березы, и она, как чахоточный человек в непосильном труде, оказалась обречена на гибель. Видишь, как она из последних силенок тянется к свету, как пыжится вылезти из плотного окружения густолистных, высоких берез. Да где там! Они вон какие битюги. Разве ей, бедняге, справиться самой без помощи человека? Надо бы свалить две-три березы, устроить ей световой прогал, да нельзя! Человек помогает своей выгоде, а не немощи; через два-три года березы в дело пускать можно, а осинка только зря соки из земли высасывает, мешает им, лишний кусок хлеба отнимает у них — ну и пускай умирает, и чем скорее, тем лучше! Такова логика жизни. А вон смотри, как причудливо

изогнулась береза, словно кто-то ударил и перебил ей хребет. Оказывается, взглядишь попристальнее, соседка прижалась к ней, когда она была еще молоденькой, чтобы самой скорее к свету выбраться, и березка вынуждена была изогнуться, искривиться, навек остаться горбатой, чтобы избавиться от более сильной соседки и все же дотянуться до живительных лучей солнца.

Вечерами долго светилась в кабинете Георгия Викторовича настольная лампа. Сквозь тюлевые занавески обрисовывалась склоненная над бумагами голова. Он умел работать и любил работу.

Зимой дел было меньше, и Георгий Викторович чаще ходил на охоту.

Больше других мне нравилась его пара русских гончих. Вязкие, паратые, голосистые, они доставляли особенное удовольствие, когда подваливали к Караю или Карай присоединялся к ним,— тогда снежная тишина уступала место трехголосому слаженному гону с заливом, плачем, трубным низким подпевом.

— Упоение! Концерт! — наклоняет ухо в сторону лая Георгий Викторович и, осторожно переводя предохранитель, приготавливается к выстрелу, отступив с дороги в запорошенный куст.

Как-то после охоты он предложил мне переночевать у него, с тем чтобы утром сходить к сосновым посадкам.

— Лесник уверяет, что молодень не тронута лосями и зайцами,— что-то не верится! Надо самому взглянуть. Кстати, покажу тебе лисьи норы!

Я согласился. Утро выдалось морозное, колкое. Над лесом повисло багряное солнце, расплавленно пламенили стволы сосен: искрились инеем ветви.

Георгий Викторович, грузновато придавливая наст,

скользил на широких охотничьих лыжах. Барашковая ушанка то и дело задевала нависающие лапы деревьев, и снег метелил с них, оседая мукой на плечах и спине. Я много ниже и легче Георгия Викторовича, и двигаться за ним по накатанной лыжне мне было легко. Тинь-тинь-кала синичка, трудился дятел, хлопало застуженное дерево, одиноко каркала ворона — звуков полно, и все же тихо. Так тихо, что звенит в ушах и слышно, как падают с веток комочки снега.

— Все прекрасное покоряет,— отвечая своим мыслям, негромко заговорил Георгий Викторович,— показывает тебе твое собственное несовершенство, и от сопоставления становится грустно. Впрочем,— добавил он,— каждый по-своему воспринимает природу.

До посадок километра три шли молча, вслушиваясь в тишину, в певучее — шшш... — скользящих лыж. Вдруг послышался хруст. Мы обернулись и увидели редкую картину: недалеко от лыжни мчался молодой лось. Мелькнул в белых, сбрасываемых с деревьев хлопьях и исчез, оставив борозды разворошенного снега.

За ним шагах в двухстах ровными, сильными махами, точно попадая передними лапами в глубокие просовы лосиных ног, бежали волки.

Все это произошло так неожиданно-стремительно, что Георгий Викторович не успел вовремя приготовить ружье. Заторопился, засуетился и выстрелил, не целясь, сразу из двух стволов, когда волки были уже недосыгаемы для дрови. Вожак великолепным атлетическим прыжком метнулся в сторону, и за ним, словно по команде, также рванулись три задних волка.

— Через пять-шесть часов наступит финал! Я прекрасно вижу... — воскликнул Георгий Викторович, щу-

рясь на заснеженный березняк, как будто действительно видел там то, о чем говорил.

Он стал неузнаваем: его обычно добродушное и красивое русское лицо выражало теперь такую ненависть и твердость, что страшно было на него смотреть.

— Пройдет немного времени, и измученный гонимый лось остановится, качнется на дрожащих ногах и ляжет, жадно хватая горячим языком холодный снег. Шумно, со свистом из трепетных ноздрей вырвутся струи пара, и тяжело будут вздыматься потные бока... Вот волки взяли в клещи лося — двое с боков, двое сзади — и с безошибочно-звериной точностью метнулись к горлу, впились, застыли на нем в мертвой, волчьей хватке! Лось опрокинулся, захрипел, забил ногами, но уже надела на него вся стая, и через миг из распоротого брюха захлещет дымящаяся кровь!

— Тебя хватит на сутки? — возбужденно обратился он ко мне.

— Думаю, хватит, — ответил я.

— Тогда пошли!

Сильно, ровно двигая лыжами, он сразу далеко ушел вперед. Мне было понятно его намерение: или застать на лосе волков и тут же убить их, или подождать, когда они, нажравшись до предела, где-нибудь рядом залягут спать. След укажет место дневки. И в том и в другом случае, если удастся бесшумно подойти, выводку конец. Мы шли молча, стараясь не касаться ветвей, не вызвать никакого шума. В лесу было по-прежнему тихо, морозно, звонко.

Долго не показывался волчий след. Казалось, напуганные выстрелами, они отказались от погони. Но мы

знали, что хитрые, сторожкие звери бегут где-то стороной и, когда убедятся в полной безопасности, снова выйдут на лосиный след.

Мы пересекали перелески, входили в вековой бор, скатывались в глубокие овраги, с трудом поднимались по крутым склонам — след уходил в поле, опять в лес, опять в овраги и все такой же глубокий, такой же ровный, и казалось, не будет ему конца. Но вот в мелком, частом осиннике лось задержался, отоптал полукружье, передохнул и снова побежал. Рядом с этим местом вышли на след волки.

Георгий Викторович осмотрел отпечатки волчьих лап, снял ушанку, вытер потный лоб и сел на лыжи.

— Покурим,— свернул толстенную сигарку, затянулся, выдохнул длинную голубую струю.— Ослаб. Теперь шабаш, не отпустят его,— сказал он шепотом.

Через пять минут мы снова скользили обочь двойного — лосиного и волчьего — следа.

С детских лет остались во мне отвращение и злоба к волкам. Именно злоба. С тех далеких дней, когда впервые объял мою мальчишескую душу ужас и из страха родилась злоба. Мне много приходилось бить волков и на облавах, и на скрадке у привады, но никогда я не испытывал к ним ни малейшей жалости, ни капли сострадания. Я понимал лютое состояние Георгия Викторовича и знал — как волки от лося, так и мы от волков не отстанем. Будем задыхаться, падать от изнеможения, ползком ползти, но не отстанем! Есть такой предел у охотника — перейдешь его, и все становится нипочем, все одолимо.

Смертный гон продолжался: волки за лосем, мы за волками. Вот лежка. Лось устал. Прилег прямо на следу.



Но лежал недолго — снег не успел подтаять. Вскочил, помчался, — очевидно, волки настигали.

Вот они остановились на лежке, облизали, даже зубами прихватили остро пахнувшие вмятины, оставили желтые промоины и снова, лапа в лапу, понеслись за лосем.

Через километр-полтора лось снова лег. На снегу розовели капли крови — бедняга стер голени. Теперь он был обречен. Развязка приближалась. С этого места волки взяли лося в клещи: один справа, другой слева, двое позади.

Георгий Викторович пригнулся, побежал быстрее. Я едва поспевал за ним.

Солнце перевалило на другую сторону неба, освещало одни макушки сосен, небосклон заалел и потемнел, на снегу пролегли длинные тени. Приближались сумерки, а мы все шли и шли вдоль следа, расстегнув полушубки, сняв рукавицы, заломив на затылок меховые шапки, подставляя колкому морозу пылающие щеки и потный лоб.

Вдруг впереди послышалось урчанье и еще какие-то непонятные звуки.

Георгий Викторович жестом остановил меня и, помянув пальцем, прошептал:

— Бить на приваде или брать на лежке?

Брать на лежке — значит ночевать в лесу, значит отойти километра три в сторону, чтобы не почуяли тебя волки, распалить большой костер и, борясь со сном, морозом и голодом, бодрствовать до утра; бить на приваде — значит, не мешкая, пока еще не стемнело, рискнуть подкрасться на выстрел к лосю, где разъяренные волки упиваются жратвой. Но тут успех зависел

исключительно от осторожного, беззвучного передвижения.

Решили попытаться бить на приваде.

Сдерживая нетерпение, заставили себя спокойно постоять до тех пор, пока дыхание не стало ровным и ноги перестали дрожать от усталости. Лыжи спрятали в куст, поднятой над головой ладонью определили направление ветра, зашли против него и, опустившись на колени, неслышно тронулись ползком. Георгий Викторович впереди, я его бороздой сзади.

Вместе с урчанием стало слышно чавканье и провизг. Условились стрелять только по-верному — мне левых, ему правых. Обогнули заснеженный частый можжевельник и замерли, припав к снегу: на дне овражка, шагах в сорока от нас, волки рвали лося.

Было именно так, как «видел» Георгий Викторович: вожак, упираясь лапами в шею, впился в горло, другой рядом рвал мясо у лопатки, остальные терзали брюхо. Звери не замечали нас. Я выбрал двух слева, выцелил, прикинул в уме — как мгновенно с одного на другого перевести стволы, изготовился и подал знак Георгию Викторовичу.

Два дуплета слились в единый грохот. Волки, словно пригвожденные к лосиной туше, так и остались лежать с уткнутыми в брюхо мордами. Только вожак повернул ощеренную клыкастую пасть, засучил задними лапами, попытался подняться на передние, но захрипел и пал.

Вернулись домой под утро до того измученные, что у меня не хватило сил стащить валенки — как свалился на пол, так и проспал в полушубке до вечера.

Когда я проснулся, Георгий Викторович, прикрытый пледом, еще храпел на диване, но распыленные гвоздя-

ми волчьи шкуры уже сушились на стенах сарая. Рано утром, прежде чем лечь спать, Георгий Викторович сделал все необходимые распоряжения, а двух лесников отправил за волками. Он не ушел с крыльца до тех пор, пока они не запрягли цугом крепких сытых меринов в розвальни и не тронулись через поляну к лесу.

Затем Георгий Викторович притащил в дом огромную охапку мелко наколотых, пахнущих морозом березовых дров, протопил лежанку и закрыл трубу. Тщательно попытавшись разбудить меня, чтобы заставить лечь на кровать, он сунул мне под голову подушку и только после этого устроился на диване и тотчас же захрапел.

За зиму у него в сенях накапливалось множество лисьих, волчьих и заячьих шкур. Приятным пушистым украшением они свисали хвостами к полу, насыщая воздух особым, едва уловимым запахом леса, снега, ворса и чего-то еще, присущего только сухим, невыделанным шкурам. Он любил перебирать их, разглаживать, встряхивать, любоваться волнистой игрой волоса и при этом вспоминать, где и при каких обстоятельствах был загнан владелец шкуры.

— Видишь пометку чернильным карандашом? — выворачивал он мездрой лапу лисы.— Ее Запевка с Плакуном три часа гоняли. Двенадцать раз уходила из-под слуха, десять раз подставлялся — убил у норы. Она не бежала, а плелась: в лоск вымотал ее смычок. Но и сами измотались — четыре дня лапы зализывали... А вот этот русачок дал стрекача через Оку и на лугу между стогами до обеда вертелся. Только на последнем кругу метнулся обратно к лесу да с маху в прорубь угодил. Насилу дурака вытащил. А этого волчонка капканом взял. Целый час за ним шел. Весь след в крови — пы-

тался лапу перегрызть. Увидал меня — шерсть дыбом, глаза сверкают, зубы щелкают — бросился, даже капкан приподнял. Так на прыжке и убил его.

И так каждая шкура вызывала у Георгия Викторовича воспоминания о необычайном охотничьем случае.

В феврале он отвозил в Рязань все свое меховое богатство, получал за него деньги, навещал Геннадия с Лелей, покупал новые книги и до лета расставался с детьми, а с охотой до чернотропа.

Сейчас Георгий Викторович на пенсии. Живет в Сибири, где Геннадий работает конструктором. Изредка радует меня скупыми, но выразительными письмами, в которых я узнаю милого, чудаковатого старого гончатника, сурового, сердитого на вид лесничего, но в действительности добрейшего, простодушнейшего русского человека.

Леля стала знаменитой сибирской певицей, обзавелась семьей и машиной и каждый год, вот уже восемь лет, обещает мне «приехать с папкой в отпуск».

В последнем письме Георгий Викторович сообщал, что с внучатами он так же суров, как был суров со своими детьми. «...Воспитываю их по-спартански, как Генку с Лелькой. Но, представь, не боятся меня и приходится применять силу». Написал он мне и о делах охотничьих. «...У Геннадия водятся собачки, но куда там до Запевки, до Плакуна или твоего Карая! Побрешут, потявкают кружок-другой, и все. Ни музыки, ни залива — немощь, скудность, мелкота! Противно слушать. Геннадий убьет одного, пару — и доволен. Да что он понимает? Разве он чувствует настоящий гон? Им, теперешним охотникам, только бы убить и домой притащить! Вот, дескать, какой я ловкий! Э, да что там — сгнула красота гона!..»

Я вчитываюсь в обрывистые фразы и чувствую грусть старого гончатника по былому, страстному гону, чувствую невысказанную тоску по ушедшей, невозвратимой молодости.

## 6

Темно. Окно в морозном уборе. Половина седьмого утра — пора выходить. Надеваю приготовленный с вечера рюкзак, в котором завтрак и белый халат, кладу в карман ватных штанов пяток патронов и вешаю на плечо ружье.

На заснеженной ступеньке крыльца терпеливо ожидает Митя. Громила уткнулся лобастой башкой ему в колени, урчит от наслаждения, помахивает гоном. Митя чешет ему за ушами и деликатно, чтобы никого не разбудить в доме, шепотом ведет с собакой душевный разговор.

Уж так с первых дней охоты и повелось у нас — встречаться на крыльце. Сколько я ни просил Митю заходить в дом — он всегда оставался верен себе.

А познакомился я с Митей вот как. Однажды на тяге убитый вальдшнеп упал в болото. Я полез за ним, но сразу завяз между кочками в топкой жиже.

— Папаша, я достану,— послышалось сзади.

Я обернулся. Ко мне подходил небольшого роста коренастый хлопец с ружьем на плече, в кирзовых сапогах и солдатской защитной тужурке. Ловко прыгая с кочки на кочку, он быстро добрался до вальдшнепа и, подавая его мне, представился:

— Демобилизованный, Митя!

Работая на заводе слесарем, Митя не имел возмож-

ности надолго и далеко уезжать на охоту и поэтому довольствовался угожьями своего района, где всегда было много охотников, а дичи мало. Но зайчики водились, и я с Митей и по черной и по белой тропе чуть ли не каждый выходной отправлялся в знакомые перелески.

На охоте Митя был вежлив, предупредителен и чрезвычайно заботлив.

— Да вы отдохните. Присядьте, тут удобно,— смахивая шапку снега с пня и укладывая на него шерстяные рукавицы, то и дело уговаривал он меня.

Да, с ним я, откровенно говоря, барствовал.

— Не беспокойтесь, я сам! — отстранял меня Митя от всякой работы.

Особенно не протестуя, я с удовольствием уступал его настояниям — садился, а он заготавливал хворост, бегал за водой, разжигал костер, улаживал на рогульках чайничек и котелок с варевом. Все это проделывалось им споро, без труда, с видимой охотой.

Проплутать весь день по лесу зимой, летом, в дождь, ветер, жару, вьюгу для Мити не составляло никакого труда. Но возвращаться домой пустым, без убитой дичи было неподдельным горем!

— Ну какая это к чертям охота! Ну чего попусту дурь из ног выколачивали! Стыдно домой идти!.. — ныл он тогда всю дорогу.

— Зато какая прелесть в лесу! — стараясь утешить, говоришь ему.

— Прелесть! Прелесть! — бесцеремонно прерывает меня Митя.— А дичи нет! Вот когда бы в рюкзаке лежало тепленькое — вот тогда была бы прелесть.

— Так тебе мяса не хватает? — ядовито спрашиваешь его.

— Да, мяса, добытого мною на охоте,— решительно и раздраженно отрубает Митя и демонстративно уходит вперед, давая понять, что не желает на эту тему вести разговор с сентиментальным, старым чудаком.

Но при иных обстоятельствах он всегда оставался приятным молодым человеком. И когда, по старым неписанным охотничьим правилам — всю убитую дичь делить поровну с товарищем по охоте, я откладывал ему часть из своей добычи, он конфузился, благодарил и деликатно отказывался:

— Спасибо, что вы. Я же все мазал. Это ваш убой.

— Бери, бери,— настаивал я.

И только после этого он соглашался.

Да, Митя не жаден и не скуп. Весь свой заработок он отдает матери. С удовольствием преподносит дорогие подарки своей девушке, милой хохотунье Светлане. Мне всегда было приятно смотреть на их здоровые, цветущие лица, слушать беспричинный, закатыстый смех, и поэтому я всегда с удовольствием соглашался «захватить с собой Светланку».

Для этих походов Митя купил ей резиновые сапожки и плащик с капюшоном. На привале он извлекал из рюкзака дорогое вино, недешевые закуски, на покупку которых, возможно, даже тратил специально занятые для этого случая деньги.

Нет, Митя не жаден, но к дичи он испытывал такую алчность, что временами становился неприятен.

— Митя, хватит, пошли домой,— бывало, предлагаешь ему, уже в досталь настрелявшись.

— Вот тут еще в сечи захватим. Тут еще должен быть выводочек,— аж дрожит весь, умоляя, Митя.

А какое непомерное блаженство, гордость, даже

счастье выражало его лицо, когда плечи отягощал увесистый рюкзак с дичью.

Митя не был хвастлив. Он не выставлял дичь напоказ, пристегивая ее к поясу, как делают это многие охотники. Он не любил привлекать к себе внимания: дичь носил в рюкзаке и норовил пройти незаметно — малолюдными переулками. Охотников-позеров Митя не любил.

— Витрина! — презрительно называл их Митя.

Он учился в вечернем техникуме, а Светлана в школе рабочей молодежи. Всю неделю они бывали заняты с раннего утра до поздней ночи. Зато в субботу, наскоро закусив и переодевшись, уходили на каток, уезжали за город на лыжах, шли в кино или в театр.

А в воскресенье чуть свет Митя уже сидел на крыльце и, дожидаясь меня, вел с Громилой приятный им обоим тихий разговор.

И все же расстаться с Митей мне пришлось именно из-за его жадности к дичи. Как-то в конце декабря гоняли мы русака. Громила то уходил из-под слуха, то накатывался густым надрывным гулом, и мы спешили подставиться. Но гон снова круто сворачивал в сторону и затухал где-то за горизонтом.

Вконец измученный, я дотащился до того места, откуда Громила поднял русака, и твердо решил не уходить отсюда до выстрела.

Неутомимый Митя, соскользнув в овражек, выбрался на противоположный край и побежал, жикая лыжами, наперерез гону. Вдруг послышался другой, не Громилы голос. Высокий с захлебом лай, нарастая, катился вдоль леса.

«Экая славная сучонка! — подумал я. — Как азартно, вязко держит! Хорошо бы вот таких два голоса зали-



вистых женских и густой мужской в один смычок — за-слушаешься!»

Раздался выстрел. Собака умолкла.

— Добрал,— решил я и медленно двинулся к опушке, желая посмотреть собачку и ее владельца.

Снег лежал глубокий, плотный. Широкие лыжи, не проваливаясь, легко скользили, оставляя приметный, ровный след. Усталый, опустил я на заснеженный пень у опушки голого березняка. День выдался морозный, весь в сверкающих брызгах негреющего солнца, в искристой белизне снега и хрустальной певучести звуков. Я сидел как зачарованный.

Вдруг послышались грубые окрики, ругань, вспугнувшие мою сказку... Я поспешил на голоса и вскоре увидел, как по колена в снегу стояли два охотника, готовые броситься друг на друга. Между ними лежал беляк.

Оказалось, что Митя убил зайца из-под собаки незнакомого охотника и хотел забрать его себе. Хозяин собаки запротестовал. Тогда, сбросив рюкзак и положив на него ружье, Митя стал подступать к охотнику с кулаками. Малый оказался не из трусливых — тоже принял боевую позу, и, не вмешайся я, драки бы не миновать.

— Заяц не твой! — сдерживая негодование, обратился я к Мите.

— Как не мой, когда я его убил! — воскликнул он.

— Ты не имел права стрелять из-под чужой собаки,— кричал охотник.

— Здрасте! — издевательски поклонился ему Митя.— Стало быть, пусть заяц уходит, а ты стой и смотри.

— Заяц принадлежит хозяину собаки, которая его гонит. Стрелять ты мог, но заяц не твой,— урезонивал я Митю.

Но простая, испокон века существовавшая охотничья мораль Мите была недоступна.

— Я собаку не трогал,— горячился он.— Я зайца бил, и принадлежит он тому, кто его убил, а не тому, кто на него брехал.

Только угроза, что я немедленно сниму с гона Громилу и больше никогда не пойду с ним на охоту, заставила Митю отказаться от зайца.

— На, черт с тобой, пользуйся чужой добычей,— раздосадованный и уверенный в своей правоте, швырнул к ногам охотника белячка Митя.

Настроение было испорчено. Пропало желание продолжать охоту. Угрюмый и молчаливый, явно чувствующий себя обиженным, плелся за мной Митя.

Через несколько дней Митя пришел извиниться за причиненную мне неприятность.

— В этом вопросе я с вами не согласен! — сказал он.— Но если вам неприятно, обещаю под чужую собаку не подставляться.

— Вот и прекрасно! — обрадовался я.

Но, увы, наши великолепные гонные охоты после этой истории продолжались недолго. Жадность к добыче оказалась сильнее всех благих Митиных намерений, и от охоты с ним мне все-таки пришлось отказаться.

Однажды мой давний приятель, старый лесник, пришел ко мне поделиться своей удачей.

— Новую нору нашел,— радостно сообщил он.— Сам видал, как в нее матерая лисица ушла. Хочу подстеречь!

Я рассказал о находке лесника Мите и попросил его никому об этом не говорить, чтобы не испортить старику охоты. Каково же было мое негодование, когда я

узнал, что кто-то все же опередил лесника — убил лису у норы.

— Я-то ее берег! Только тебе доверился! — чуть не со слезами сетовал старик, и в голосе его был горестный упрек.

— Клянусь, в твоей лисе я не повинен,— заверял я его тогда.

Но, как выяснилось потом, в этой истории был виноват я. Лису прикончил Митя. После моего рассказа, в ту же ночь, он отправился к норе, залег у входа и на рассвете, едва показалась рыженькая мордочка, убил лису.

Когда я узнал об этом, то с возмущением спросил Митю:

— Как же ты посмел воспользоваться простотой старого лесника и моей дружеской откровенностью?

— Старый вы человек, и понятия ваши старые,— снисходительно ответил мне Митя.— Лиса вольная. Каждый член общества охотников имеет законное право бить ее, я и убил! Вот и весь сказ!

Может быть, по праву закона Митя был прав, но я со своими «устарелыми» понятиями об охотничьей честности и морали не мог больше охотиться с ним и откровенно, без обиняков тогда же сказал ему об этом.

Он удивленно поднял брови, пожал плечами и, простодушно улыбнувшись, ответил:

— Ваша собака — ваша воля!

## 7

Для многих непонятно, что понуждает Никанора Романовича Пронкина ходить на охоту. Грузный, рыхлый, он шагает, тяжело переставляя ноги, и при этом пыхтит,

словно воз тянет. Стреляет Пронкин неважно. Он почти всегда запаздывает. Но, промахнувшись, никогда не горюет. Только скажет безразличным тоном:

— Не везет,— и спокойно перезарядит ружье.

А если убьет, то кряхтя, не спеша подберет добычу и, не рассматривая, сунет в сетку. Разговоры охотников его не интересуют, и он редко когда принимает в них участие. Ходить много он не любит и обычно через каждые полчаса требует: «Отдохнем!» И, не дожидаясь согласия, тут же опускается на траву или на пенек.

И к природе Пронкин относится равнодушно — я не знаю случая, когда бы он заметил ее красоту. Восторженные восклицания охотников, пораженных великолепием природы, вызывают только его недоумение. Осмотревшись, он обычно в таких случаях говорит:

— Деревья как деревья, трава как трава — ничего особенного.

Зато на привале, у костра, Никанор Романович Пронкин становится неузнаваем. Откуда только берется у него живость, находчивость, ловкость... Колбаски, консервы, бутылка, фляжка, термос с шутками-прибаутками извлекаются из рюкзака и раскладываются на облюбованном местечке. Вынув раздвижной походный стаканчик, Никанор Романович мастерски вышибает пробку из бутылки и наполняет его до края.

— Здравствуй рюмочка — прощай винцо! — говорит он и медленно, с видимым наслаждением, жмурясь, запрокидывает голову, сосет. Высосав, целует доньшко стаканчика: — Спасибо, утешитель!

Выпив, Пронкин принимается закусывать. Ест он жадно, ненасытно, облизывая пальцы, причмокивая и чавкая. Двигаются мочки его ушей, дрожат обвислые щеки,

хрустят на зубах косточки. Не переставая жевать, он смахивает капли пота со лба.

— С твоим аппетитом, Романыч, жить сто лет! — бывало, скажет ему кто-нибудь.

— В долголетию мудрость бытия, истоки же его в оном! — указующе простирает в ответ длань над закусками и бутылками Никанор Романович.

Возраста он неопределенного. Работает приемщиком на канатной фабрике. Оклад у него небольшой, но живет он в достатке: обзавелся аккуратным домиком, фруктовым садом, огородцем и множеством белых курочек.

Вечерял Никанор Романович на скамеечке у калитки своего дома. Здесь его всегда можно было застать в общества праздных соседей, не желающих по-иному заполнять вечера. Случалось, подходили к ним знакомые рыбаки. Они делали заметные одному Никанору Романовичу знаки и скрывались с ним во двор.

Злые языки поговаривают, что Пронкин снабжает по дешевке рыбаков капроновыми нитками и что через него можно приобрести недорого паклю... Говорят... Да, многое говорят про Никанора Романовича весьма неблагоприятного, но и бездоказательного.

— Ежели все, что про меня болтают, слушать — ба-рабанная перепонка лопнет! — презрительно замечает он по поводу всех этих слухов.

Дни его протекают однообразно, но скромно и пристойно. И только на охоте он кажется богатым и щедрым. Но ведь это на охоте! Ради такого случая можно и всю получку угрохать и еще у друзей занять, но зато уж развернуться — так развернуться. И Никанор Романович разворачивается.

запевает Никанор Романович единственную известную ему латинскую фразу из старинной студенческой песни. И его не смущает, что он отчаянно коверкает слова, произношение и мотив. Он хочет всем показать свою образованность. Затем, подняв высоко стаканчик, он обводит восторженно-исступленным, шалым взором присутствующих и пытается вновь произнести нечто необыкновенное и даже раскрывает для этого рот, но ничего не произносит и... опрокидывает стаканчик.

А потом сон тут же на траве, у костра. И, наконец, тяжелое возвращение к действительности. Пронкин мрачен, помят, крихтит, охает, морщится, ругается, сливает по каплям из опорожненных бутылок в стаканчик, раздраженно-брюзгливо хрипит пропитым голосом:

— Какая к чертям охота! Давай посидим, отдохнем — да и по домам.

Десятки охотников встречались на моем пути. Встречи были разные: и случайные, мимолетные, не оставляющие следа ни в уме, ни в сердце; и крепкие, яркие, на всю жизнь согревающие теплом воспоминаний. Длинной чередой проходят перед моим мысленным взором друзья-охотники. С печалью по невозвратному, но всегда с благодарностью, я вспоминаю ушедших, наши охотничьи походы и с волнением думаю о тех, кто придет нам на смену, — о будущих друзьях родной природы, этого неиссякаемого живого источника радости и красоты!



**М**ихайлова  
**сторожка**

**Рассказ**

Только весной бывает такая густая, звездная темень, такая живая тишина. В черном мраке ничего не видно, но все слышно. Журчит ручей, хрустко падает сухая ветка; стремительно проносится в невидимой высоте, с тонким посвистом острых крыльев стайка уток; разрывая тишину, призывно крякает матерая, ей успокаивающе жвакает селезень — и снова тишина. С разлива тянет холодком, из леса — прелью.

Мы сидим на ступеньках крыльца сторожки, за несколько шагов от которой начинается многокилометровый окский разлив, и слушаем ночь.

Лесничий Иван Петрович, высокий крепкий старик, не потерявший молодую подвижность, всю свою жизнь провел в лесу, знает и любит его, как любят близкого, верного друга.

— Такие ночи для человека — радость! — негромко произносит Иван Петрович. — Они точно всю скверну житейскую с души смывают. Чувствуешь себя добрым, сильным, способным на невесть какие хорошие дела.

Молчание. Каждый думает о своем. Вернее, не ду-



мает, а как бы растворяется в окружающей природе, наполненной животворной весенней силой.

Далеко над разливом протянул свистунок. Его умоляющий, певучий «клинн, клинн...» одиноко звучит в просторе ночи. Иван Петрович подал в кулак голос чирушки, и мгновенно рядом что-то шумно шлепнулось в воду и нетерпеливо отозвалось: «Клинн!» Дескать: «Где ты, плыви сюда!»

— Это к теплу,— замечает Иван Петрович.— Скоро валом чирок пойдет.

Вспугнутый чирок срывается и уже издали доносится его зовущий мелодичный голосок.

— Я обещал вам рассказать, почему эта сторожка называется Михайловой. Вот сейчас, пожалуй, самая для этого пора — уж больно ночь хороша!

Иван Петрович звонко щелкает крышкой портсигара, закуривает, на миг освещая крупные черты лица, седые усы, курчавую, старомодную бородку и нависший над бровями козырек простого картуза.

— Лет шестьдесят тому назад жил здесь, в Ловцах, лесопромышленник Куржанов. Гонял плоты, торговал лесом. Построил каменный дом, завел звероподобных псов, разжирел, весь ушел в наживу. Был он вначале простым плотогоном, ловким, башковитым хлопцем. Толкуют, где-то под Царицыном плот разорвало, бревна по всей Волге расплылись — хозяин заголосил благим матом. Куржанов его и тюкнул по затылку, да и концы в Волгу, а сам с деньгами у нас в Ловцах появился. Поставил миру пять ведер сивухи, получил надел, сбил артель плотогонов — и «пошла писать губерния!» Через два года сельчане уже перед ним шапку ломали, староста за ручки здоровался, Василием Прохорычем величал! Впрочем,

это не так уж интересно. Таких случаев в старой России сколько угодно было — кто не знает, как появлялись наши деревенские богатеи!

Вспыхивает папироска, подчеркивая непроглядную чернь ночи; в глубине леса скорбно простонала сова, за сторожкой шумно всполошились встревоженные грачи.

— Ласка подкралась,— поясняет Иван Петрович и, глубоко затянувшись, продолжает свой рассказ.

— Обзавелся Куржанов семейством, женился, дочка родилась, потекли дни за днями, год за годом... Маша подросла. Отдали ее сначала в приходскую школу, а потом в Рязань, в гимназию. Вернулась к нам сюда Маша девушкой, да какой! Косы, брови, рост — царь-девка!.. Первой по округе невестой стала, от женихов отбоя нет. Сынок рязанского полицмейстера два раза с папашей наезжал — по Оке на лодке катались, верхом в луга ездили. Но, видать, девичье сердце не созрело еще до любви. Надо полагать, все бы кончилось весьма обыденно, как и положено дочери богача: подошла бы пора, появился бы подходящий избранник, сынок купеческий,— ну и «Исайя, ликуй!», а дальше пошла бы жизнь — слепок с родительской. Жили бы, богатели, деток рожали, если бы не случай! Да-с, случай! — повторил Иван Петрович и надолго замолчал.

Ночью, едва смолкнет человеческий голос, сразу становится необычайно — до звона в ушах — тихо. Но уже в следующий миг начинают обозначаться лесные звуки, и через минуту-другую непроглядная весенняя темень вновь наполняется отголосками незатихающей жизни птиц, воды, деревьев, воздуха.

— Охотник я, как вы знаете, с мальчишеских лет.

А в ту пору я уже был студентом Межевого института. Сам я здешний, ловецкий. Приезжая домой на каникулы, разумеется, все зори на разливе с кряковой просиживал, а иногда с полночи в лес на глухарей отправлялся. Ах, какие у нас здесь бывали охоты! Не поверите, по десятку селезней в зорю брал, к трем глухарям на токах подходить успевал! Сижу так-то вот однажды в завехе, поглядываю на чучела — их вокруг целая стая рассажена: го-голя, шилохвости, чирки, вдруг слышу — кто-то легонько веслом постукивает. Надо сказать, у нас вся утиная охота в челне на плаву происходит. Челны видали наши — сухие, удобные: мы и спим в них и чай распиваем. Въедешь в залитый куст, оплетишь ветки еловыми лапами, положишь поперек челна дощечку и посиживаешь — благодать! Смотрю — утка встрепенулась, зашлась голосом, вытянула шею, распласталась на кругу, осаживает: «ах, ах, ах!» — прямо-таки сама не своя! А селезень — «жа, жа-аа, жа-аа!» Кружит над ней, над завехой, осматривается. Я замер, застыл с ружьем на весу, не шелхнусь, а он все кружит и кружит, сторожкий такой попался, видать пуганый. Наконец не выдерживает — круто скользит к воде, но, не коснувшись ее, вдруг взмывает ввысь и исчезает. Я со вздохом опускаю сразу отяжелевшее ружье на колени, и в тот же миг из-за куста на челне показывается человек. Подплывает. Вижу — парень не наш, чужой. Волосы назад зачесаны, глаза внимательные, спокойные, грудь широкая. Расстегнутый ворот обнажает крепкую, смуглую шею. Лицо мужественное, красивое. Поллюбовался сложенными на корме селезнями, знающе осмотрел мою централку, похвалил челн. На вопросы отвечает коротко, деловито: плоты вяжет у Куржанова, сам дальний, из пинских мест, дескать, пло-

тогон природный, наследственный, сюда случайно с плотом попал, да и застрял. Объяснял скупое, но точно. Зовут Михаил, фамилия Ботов, охотник. Пригласил вместе на тока сходить. «Облюбован, говорит, у меня тетеревиный ток, шалашик поставлен на полянке с редкими кустиками». Условились встретиться на следующий день, отправиться туда ночью, чтобы до рассвета засесть в шалаше. В разговоре, в жестах, в манере держаться что-то явно было в нем не мужицкое. Бросались в глаза сухие, тонкие, смуглые руки, чистые белые зубы, небольшие подстриженные усики и добрая, прямо-таки обаятельная, освещающая лицо улыбка. Понравился мне Михаил, очень понравился! Особенно живописно он выглядел, когда, стоя в челне, управлял длинным веслом — стройный, гибкий, стан чуть раскачивается в такт движению весла, ну прямо античная фигура атлета! Чшш!.. — останавливает сам себя Иван Петрович, настороженно повернув голову и предостерегающе подняв указательный палец. — Слышите?

За сторожкой гугукали на кормежке гуси. Их тревожные голоса говорили о какой-то неожиданной опасности.

— Лиса подкрадывается, — объяснил Иван Петрович. — Да вряд ли что у ней получится — сухая прошлогодняя трава шуршит, гуси за километр слышат — птица сторожкая, чуткая.

Сидим молча, слушаем. Над разливом плывут редкие, звонкие удары: это в Ловцах на колхозной ферме сторож отбивает часы ударом молотка о подвешенный обрезок рельса.

— Раз, два, три... полночь, — просчитал Иван Петрович. — Звук-то какой от воды — музыка! Вот однажды в

такую же бархатную темень дожидался я в челне рас-света и вдруг слышу тихий всплеск весла, горячий, прерывистый шепот, и мимо меня тенью проскользнул челн с двумя силуэтами. По какому-то неуловимому признаку определил: «Михаил»,— и нехорошо подумалось: «Неужели отправился чужие мережи поднимать?» Были у нас такие охотники на чужое добро: у рыбаков из сетей рыбу выкрадывать. Мне даже больно стало от такой мысли. К этой поре я уже подружился с Михаилом. Нередко после той памятной сидки на тетеревиные и глухариные тока ходили, на тягу вальдшнепов... Глаз у него был верный, расстояние определял точно, ни зряшных движений, ни растерянной суеты у него не было, рука была твердая — навскидку стрелял замечательно. Промахивался он редко. Пришлось узнать о нем побольше, и стали понятны его немужицкие руки, и складная, толковая речь, начитанность. Был он выгнан из Московского университета с «волчьим билетом» за участие в беспорядках и сослан в Тобольскую губернию под надзор полиции, откуда бежал на Каму. Здесь удалось пристать к плотогонам, раздобыть вид на жительство на имя Михаила Александровича Ботова, поступить на работу к Куржанову. Я гордился им! Для меня он был борцом за правду народную, за свободу простых, угнетенных людей — и вдруг рыбу у рыбаков из сетей ночью выкрадывать! Нехорошо мне сделалось от такой мысли. В одну минуту спрятал кошелку с уткой в куст, вынул круг, чучела, чтобы не стукнули случайно, и вымахнул из шалаша. Вы знаете, как мы, ловецкие, челны ведем — капля с весла не упадет! Ни одним звуком тишины не нарушим. А быстрота — на шлюпке не угонишься. Ну где было Ботову со мной тягаться! Красивый он, слов нет,

ловкий, ладный, может быть — во сто раз удалее меня, но в челне передо мной — кляча! В десять махов нагнал, призраком возник перед ним. Подвел челн к борту, прохрипел: «К мережам за рыбой, у бедняков гроши...» Не успел договорить, как схватил меня за ворот Михаил, притянул к себе. Как мы не свалились в воду — не знаю! Как не перевернули челн — непостижимо! В тот же миг раздался пронзительный, испуганный крик... Я остолбенел. Отпустив меня, он быстро наклонился к вскрикнувшей и заговорил успокаивающе тихо. Мне стало стыдно до слез. Я забормотал извинения, я умолял простить мою бестактность, а главное, пакостное, оскорбительное предположение. Михаил осторожно отпихнул мой челн от своего, примиряюще сказал: «Уезжай, чудачина!» — и быстро исчез в темноте за чернеющими кустами.

Иван Петрович снял картуз, провел ладонью по волосам и, сдерживая волнение, произнес:

— Вы, наверное, догадываетесь — в лодке была Маша!

Помолчав, он полез в карман за папиросами, но не закурил. Видимо, воспоминания необычайно взволновали его. Через некоторое время он продолжал спокойным, негромким голосом:

— Когда и где они познакомились — не знаю. Давно ли и часто ли встречались — тоже не знаю. Но этот шепот! Такой шепот может быть только у влюбленных. Я представил себе Машу. В темноте передо мною возник ее образ. Я вам говорил, что она была красавица... И, чего греха таить, мне стало мучительно завидно и грустно...

Иван Петрович вздохнул, чиркнул спичкой и, не прикуривая, задумчиво следил за огоньком. В воздухе застыла прохладная неподвижность. Огонек дополз, не за-

тухая, до пальцев, померк. Иван Петрович зажег вторую, прикурил и только после того, как и вторая спичка догорела в пальцах, продолжал:

— Вскоре Михаил открыл мне все. Скрываться от меня после случившегося ему было бессмысленно. Да и нужен был ему верный помощник для свиданий с Машей и друг для душевных излияний. Оказалось, он еще прошлым летом познакомился с Машей. Являлся к Куржановым со свежей рыбой, за гроши, намного дешевле других рыбаков продавал ее и тем завоевал расположение к себе стариков. Катал вместе с Машей девушек ловецких в челне. Брал с собой «на девичье счастье» мережи поднимать. Поездки были веселые, песенные, с кострами, с горячей ухой. Случалось все чаще уезжать вдвоем: они бродили в лугах, хмелея от медвяного запаха цветов... А потом, потом пришла любовь. Не умея, не в силах сдерживать своих искренних, первых чувств, они горячо, бездумно отдались им. Когда в доме все засыпали, а на дворе изредка звякала цепью сторожевая собака, Маша вылезала через окно в сад и крадучись бежала к Оке, где в тени крутого берега ждал Михаил. Уезжали в луга, в лес. Ночь пролетала, как сказочный сон. Захватила их любовь настолько, что они гнали от себя прочь заботы о будущем, не хотели думать, как им жить дальше, как примирить стариков родителей с их счастьем, как сделать его открытым, не ворованным,— все это казалось осквернением чистых чувств, едва ли не кощунством. А я за них тревожился. Чего греха таить — я любил Машу! Но не ревновал ее к Михаилу, напротив, как верный пес, оберегал их свидания.

Иван Петрович вынул расческу и стал тщательно расчесывать бородку. Я чувствовал, как у него дрожит рука.

— Они не догадывались о моей любви,— продолжал Иван Петрович. Они глубоко верили в мою безграничную дружбу, и я больше всего боялся поколебать эту веру. Я помогал Маше незаметно проскальзывать к заветному челну, передавал записки, и они, поглощенные собой, благодарные мне, раскрывали передо мной свои души, не замечая, каких усилий стоило мне сохранять внешнее спокойствие. Маша слегка похудела, но зато вся светилась счастьем. В ее глазах появился блеск, губы горячо заалели, так что Василий Прохорович нет-нет да окинет ее подзрительным, пронизательным взглядом, а мать обнимет, перекрестит и скажет: «Что-то ты у меня, Машенька, как звездочка блистишь, господь с тобой!» Очень я боялся за них. Каждый день ожидал какой-нибудь беды. И она пришла... Был конец августа. После утренней охоты я задневал вот в этой Михайловой сторожке. Когда-то в ней жил лесник, потом его перевели на другую лесосеку, и она стояла заброшенной. Заснул я как убитый. Уж больно сладко спится на дневке в такой вот чудесной избушке, где каждый кусочек дерева пропитан запахами леса. Разбудила спавшая рядом со мной собака. Подняв голову, она сначала зарычала, потом оглушительно залаяла. Не успел я приказать: «Тубо, Джильда», как она бросилась к двери. В нее входил Михаил. Вернее, вползал, а не входил. Джильда прыгала, норовя лизнуть его в лицо, но он, не обращая на нее внимания, шатаясь, трудно перешагнул порог и грохнулся на сено. Вид у него был ужасный. Брюки, тужурка растерзаны в клочья, рубаха разорвана и вся в крови, лицо пепельно-серое, пальцы окровавлены, вместо дыхания из груди вырывался какой-то свистящий хрип. Я раздел его, обмыл. Он пил воду, лязгал зубами, стонал. А произошло вот что. В одну из



ночей Маша призналась ему, что будет матерью. Он ошалел от радости, носил ее на руках, плакал, смеялся от охватившей его нежности. Его Машенька — мать!.. Мать его ребенка! Теперь все казалось простым, ясным, само собой устраивающимся. Ну кто теперь не признает его права на Машеньку, на его отцовство? Наивные, милые, неиспорченные люди!.. Чуть свет они явились к старикам Куржановым... Финал объяснения был коротким и страшным. Василий Прохорович вцепился жирными пальцами в волосы Маши, рвал их, таскал ее, хрипел, задыхаясь, брызжа слюной: «С прощелыгой... беспартошным... убью!..» Михаила схватили, швырнули к спущенным с цепей псам. Загрызли бы, да дворовые бабы пожалели—отогнали кобелей водой... Мы заночевали в сторожке. Он лежал в полузабытье, бледный как смерть. У меня голова пылала от мыслей о Маше.

Вдруг с реки отчетливо донеслось: «Миша-аа!» Не помня себя, я бросился в темноту через кусты к Оке. Маша стояла на берегу босиком, в беленькой ситцевой кофточке, с распущенными волосами. Оказывается, ее заперли в комнате истерзанную, избитую. Ночью она выставляла раму, выпрыгнула в сад, побежала к Оке, вскочила в первый попавшийся челн и сама переплыла на этот берег. Она вся трепетала, обессиленная, измученная. Я поднял ее на руки и, как ребенка, понес через луг к лесу. Она доверчиво обняла меня за шею, прикинув, судорожно вздрагивала, а я... Я бережно держал ее и в первый раз по-настоящему был счастлив и готов всю ночь вот так баюкать ее, как малого ребенка, на своих руках.

Иван Петрович встал, потянулся высоким, сильным телом, посмотрел в черное небо.

— Скоро светать начнет. Пора в завеху.— Но опять опустился на ступеньку: он не мог не закончить рассказ.— В этой сторожке я и спасал их. Стариков обманули письмом. Съездил я в Рязань и там опустил письмо: дескать, прощайте, не ищите, не вернусь, уезжаю с Мишей. Уехали же они только осенью. А тут вскоре революция. Куржановы сгнули. В их доме теперь ясли. Кончив институт, я добился назначения лесничим в свои места.

Иван Петрович решительно поднялся:

— Пошли! — и, захватив прислоненное к крыльцу весло от челна, сразу скрылся в темноте.

Я едва успевал за ним, ориентируясь по хлюпанью и чавканью сапог.

— С тех пор эта сторожка называется Михайловой,— пояснил он, подойдя к челну.

— А как же с самим Михаилом, с Машей—что с ними стало, где они? — спросил я.

Иван Петрович, не отвечая, оттолкнул челн, влез в него и, расставив ноги, сильно нажал веслом.

На востоке белесо засветлел горизонт, чернь неба вытесняла серая муть.

— Ах, надо бы уже в завехе сидеть,— с досадой произнес Иван Петрович и добавил: — Миша погиб в гражданскую войну, а Маша, Мария Васильевна,— поправился он,— жива-здорова...

Как уж, неслышно скользил легкий челн, от весла в воде на миг возникали неясные блики, шуршали, задевая за борт, ветки затопленных кустов — холодным туманом дышал разлив.

Осторожно раздвинув широкие лапы ельника, развернув челн кормой, мы въехали в завеху и, удобно устроившись, начали слушать.

Вокруг тишина. Кажется, с уходом ночи ушли звуки, и мир погрузился в молчание. Но вот сбоку всплеснула рыбешка, невдалеке что-то булькнуло,— возможно, уцелевшая за зиму шишка упала с залитой сосны, и снова отовсюду понеслись бесконечные разнообразные звуки.

Охотничья страсть да тоска по янтарным зорям, по голосам и лете дичи, по серебристому простору разлива, прозрачной голубизне неба — по всему, что приносит с собой весна,— властно потянули нас из города, из комнатов в лес, на залитые луга, в завехи, на тока в шалаши.

Охота еще запрещена, и мы выехали до рассвета в приготовленную из душистых еловых ветвей удобную завеху без ружей, без патронташа, без рюкзака, без всей этой приятно отягощающей охотничьей «утвари».

Не пуганную выстрелами дичь словно покинула обычная осторожность. Утки подсаживались малыми и большими партиями, затевали шумную возню. Догоняя друг друга, окунались, хлопали крыльями, срывались, взмывали ввысь и снова падали на плес.

Чирки стремительно гонялись за самками, и те, спасаясь, с ходу бросались в воду, глубоко ныряли, затаивались. Чирок опускался на воду, изумленный внезапным исчезновением страстно желаемой подруги, озирался, вытягивал шею и умоляюще звал: «Клинн, клинн!»

Из-за горизонта выплыло солнце, окрасило палевым отсветом воду, и все запело, заликовало, заиграло многоголосым птичьим звоном.

Мы сидели, затаив дыхание, замороженные красотой весеннего утра. И не заметили, как прохлада зари сменилась теплом, а лет прекратился. Теперь только неугомонный бекас вился и падал, бляя барашком над зали-

тыми прибрежными кустами, да кричали атласнокрылые чайки.

— Всё,— сказал Иван Петрович и полез за папиросами.

Мы покинули завеху, когда сошел туман и стало совсем тепло.

Вентеря были полны крупной плотвой и пузатыми лещами — улов наш занял весь нос челна.

Через разлив мы переплыли к противоположному берегу, где на бугре стоял дом лесничества. У крыльца нас встретила высокая, статная женщина, не утеревшая былой красоты, с седеющей тяжелой старомодной прической.

— Мария Васильевна, моя жена,—сказал Иван Петрович.

Я вздрогнул от неожиданной догадки.

— Н-да-с, Мария Васильевна,— как бы подтверждая правильность моей догадки, повторил Иван Петрович.

Я горячо пожал руку и поцеловал смуглые пальцы.

Мария Васильевна вскинула чистые серые глаза на мужа и, слегка покраснев, приветливо пригласила:

— Прошу закусить! Наверно, с вечера не спали...

Выпили, закусили и отправились в его кабинет спать. Но вместо сна Иван Петрович рассказал мне, как Машенька, Михаилова Машенька, стала его женой.

...Кончилась война. Где-то на Украине погиб Михаил. Дочь умерла от тифа. Одна, с опустошенной душой, без всяких средств, полуголодная, похудевшая до неузнаваемости, Маша вернулась в родные Ловцы. Местные сельские и уездные власти знали ее трагедию и решили помочь — ей предложили организовать детский дом.

Постепенно оттаяла душа. Маша стала улыбаться. Те-

перь она принимала участие в собраниях, в педагогических спорах, целыми днями ездила по району в поисках средств для улучшения детского дома. Работа захватила Машу, к ней возвращался вкус к жизни. Маша снова похорошела, и нет-нет да и раздавался из ее комнаты сильный, приятный голос: она пела.

— Оттаяла бабочка,— замечали сельчане.

Но пережитое все же навсегда отложило свой отпечаток на ее внешность. В пышных волосах блестели седые нити, в уголках рта залегли короткие черточки, строже смотрели глаза. А весной, когда проходил лед и Ока разливалась на несколько километров, Мария Васильевна отправлялась на челне к Михайловой сторожке и долго, до позднего вечера не возвращалась домой.

Назначенный лесничим в Ловцы, Иван Петрович, увидав ее, был потрясен. Он так растерялся, что остановился, снял картуз, но не смог произнести ни слова. Казалось, он боялся ее и принимал все меры, чтобы как можно меньше видеться с ней. Даже на собраниях в деловой обстановке, среди людей, он избегал встреч с ней. Не умея скрывать своего чувства, каждый раз, случайно сталкиваясь с ней, он страшно смущался. А когда кто-нибудь из доброжелателей намекал ему на Марию Васильевну — дескать, чем не пара: свободная, красивая, культурная — не век же бобылем слоняться! — он стискивал зубы и так взглядывал на советчика, что у того отпадала охота продолжать разговор.

Знакомые и друзья недоумевали:

— Не нравится ему Мария Васильевна, да и только! Станный вкус у человека!

Он стал еще более замкнутым и суровым и только в одной охоте находил теперь радость.

Однажды в разливную пору, когда деревья набухли почками, а на взгорьях высохла земля, удался тихий, парной, с туманцем вечер. Ближе к сумеркам Иван Петрович подплыл к Михайловой сторожке, и неторопливо направился к мелколесью — любимому месту Михаила. Здесь была чудесная тяга.

У овражка, между трех осинок, врос в землю весь замшелый широкий пень — на нем, ожидая тяги, он любил сидеть с Михаилом. И теперь, вслушиваясь в бормотание, щелкание и свист дроздов, в переливную трель малиновки, Иван Петрович медленно шагал к пню. За несколько шагов до заветных осинок остановился и замер: на пне сидела Маша.

Напряженно подавшись вперед, она смотрела на него широко раскрытыми глазами. Подчиняясь исходящей от них притягающей силе, ничего не видя, кроме этих больших зовущих глаз, он двинулся к ней. Подойдя, опустился в сырой мох на колени. Он боялся закричать от нахлынувшей безумной радости. Маша была совсем рядом. Прерывисто дыша и плача, она шептала:

— Один ты остался! Один, Ваня, ты! Больше никого. Выгорела я вся в одиночестве. Никого, Ваня...

На этом Иван Петрович закончил свой рассказ.

Отдохнув и пообедав, к вечеру мы отправились через разлив к Михайловой сторожке — слушать тягу.

Челн вела Мария Васильевна — гребла умело и сильно. Несмотря на годы, она была еще очень хороша.

## СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕСНЫЕ ТАЙНЫ. Повесть . . . . .	3
ВОСПОМИНАНИЯ ОХОТНИКА. Рассказ . . . . .	93
МИХАЙЛОВА СТОРОЖКА. Рассказ . . . . .	163